

Николай Брешко-Брешковский

Ремесло сатаны



Николай Брешко-Брешковский
Ремесло сатаны

«Public Domain»

1916

Брешко-Брешковский Н. Н.

Ремесло сатаны / Н. Н. Брешко-Брешковский — «Public Domain»,
1916

Острюжетный исторический роман «Ремесло сатаны» посвящен операциям русской разведки и международных разведывательных служб в годы, предшествующие первой мировой войне и во время войны.

© Брешко-Брешковский Н. Н., 1916

© Public Domain, 1916

Содержание

Часть первая	5
1. Загадочный аббат	5
2. Солдаты великой армии	9
3. «Институт красоты»	13
4. Беспокойный жилец	17
5. Аббат Манега не теряет времени	21
6. На берегах «Голубого Дуная»	25
7. Паутинка плетется	28
8. Австрийский посланник	31
9. У сербского престолонаследника	34
10. Исповедь загорского	38
11. Что предлагал Юнгшиллер	42
12. Дом свиданий	46
13. Первые подозрения	49
14. Грезы банкира	53
15. Перед грозой	57
16. Король Лузиньян	61
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Николай Брешко-Брешковский

Ремесло сатаны

Современный злободневный роман в трех частях

Часть первая

1. Загадочный аббат

Аббат Алоис Манега как-то вдруг, совсем неожиданно, появился на петербургском горизонте.

Не было его. Никто и не подозревал о существовании аббата Манеги. И вот он здесь, на невских берегах, желанный гость в «салонах». Его видят на Морской и Набережной. О нем говорят, и даже очень.

Он был едва ли не наиболее модным человеком сезона. На аббата Манегу приглашали, как приглашают на знаменитого гипнотизера, на Шаляпина и – первое время, когда он был внове, – на гитариста Амичи.

Но что же такое аббат Манега? Увлекательный проповедник, интересный, обаятельный человек или прозорливец, которому дано врачевать мятущиеся, обуреваемые сомнением души?

В обществе он мало говорил и много молчал. Но в этом его молчании было что-то значительное...

Уметь молчать красноречиво это – своего рода искусство. Манега постиг его в совершенстве.

В своей черной сутане, великолепно скроенной, с перехватом в гибкой талии, аббат, учтиво сидя, наклонившись вперед, в каком-нибудь салоне, так и напоминал черную пантеру, спружинившуюся для сильного «броска». Миг, и последует прыжок. Но аббат оставался неподвижным, корректным, непроницаемым, иногда чуть-чуть улыбался... Вздрагивала линия красивых, четко обрисованных губ, вздрагивали усы, мягкие, пушистые, приятно пахнущие.

Дамы спрашивали:

– Монсеньор, – они называли его монсеньором, произведя сразу в кардиналы, – но ведь, кажется, католические священники усов не носят? Не принято?

– У нас принято, – снисходительно улыбаясь, точно объясняя детям какую-нибудь безделицу, отвечал Манега.

«У нас» это значило – в Австрии.

Высокий, стройный, в черной сутане, в черной шляпе и черных перчатках, с профилем ястреба, Манега всем своим обликом походил на зловещую птицу. Скошенный лоб, резкий нос с горбинкою, маленькие уши, плотно прижатые к черепу...

Зачем он приехал в Петербург?

Сам аббат ничего не говорил о цели своего появления. Говорили другие. Вернее, угадывали, потому что никто ничего не знал толком.

Приписывали ему какую-то секретную миссию. Его называли человеком, близким к ватиканским сферам. Утверждалось, что он – правая рука влиятельного князя церкви, кардинала Мерри-Дель-Валь.

Аббат Манега не разлучался с четками, янтарными, крупными. Такие четки носят мусульмане Ближнего Востока.

Аббат холеными белыми пальцами своими медленно перебирал нанизанные на шелковую нитку «зерна».

Он гулял по городу в сопровождении своей «тени». Этой внушительной тенью была громадная фигура албанца, шествовавшего в нескольких шагах за Манегаю, Экзотическая фигура балканского варвара была такой чужой и чуждой – яркой, почти сказочной – под северным небом, среди шумной кипени Морской и Невского с их европейской толпой и зеркальными витринами...

Горец диких албанских твердынь на макушке бритой головы своей носил маленькую белую войлочную шапочку. За широким матерчатым поясом торчали револьвер – громадный «кольт» и длинный кинжал. Короткая белая фустанелла (юбочка) пенилась густыми складками, точно газовый тюник танцовщицы. Длинные, белые шерстяные чулки с мягкими кожаными востроносими туфлями дополняли внешность аббатавой «тени».

– Это он для рекламы привез с собой оперного албанца, – говорили относившиеся скептически к Манега.

– Это романтично и в этом есть «кашэ», – говорили дамы, заинтригованные Манегаю.

Сам он объяснял так:

– Я два года был миссионером в Албании, проповедуя слово Божие среди мусульман. Этот Керим – один из «обращенных». Он так привязался ко мне, возлюбленный духовный сын мой, что следует за мною повсюду. Он разочаровался в исламе, и теперь это добрый католик...

«Добрый католик» имел вид чрезвычайно свирепый, воинственный. Попытки заговаривать с возлюбленным духовным чадом Манеги ни к чему не приводили. Вращая белками в ответ, албанец нес какую-то невообразимую тарабарщину. Зато Манега объяснялся с ним совершенно просто. Вообще, аббат владел многими языками. Он производил впечатление воспитанного, с изысканными манерами человека. Это помогало ему в свете, и многие заветные двери охотно перед ним раскрывались.

Манега имел успех у дам. Определенный успех. Для женщины есть что-то пряное в католическом патере, в мужчине, который носит юбку. Такое же пряное, как в оперном певце, знаменитом художнике, укротителе, тореадоре.

Пользовался ли своим успехом аббат Алоис Манега? Держал он себя с удивительным тактом. Был так учтиво сдержан с теми дамами, что хотели подойти к нему ближе, – право, самая злая сплетня опускала в бессилии руки, невольно прикусив острый, ядовитый язычок.

Манега далек был от желания разыгрывать из себя оболстителя и донжуана в сутане, правда, сидевшей на нем, как хорошо пригнанный мундир кавалериста.

Именно в кавалерии Манега и начинал свою карьеру. Он не считал нужным скрывать, что в ранней своей молодости служил в девятом уланском эрцгерцога Сальватора полку. Но вскоре почувствовал всю суетность шумной светской жизни и решил посвятить себя церкви.

Двухлетняя миссия в диких балканских горах и дебрях, миссия тяжелая, суровая, опасная для жизни, – потому что какой же мусульманин-фанатик откажет себе в удовольствии пристрелить католического патера, – была для него искусом, который он выдержал с честью.

Слушая его, дамы восклицали:

– Подвижник!.. Аскет!

Это была особенная разновидность подвижника, холившего пальцы с твердыми розовыми ногтями, курившего ароматные сигары. От всей фигуры его исходило благоухание. Мягкие усы были хорошо знакомы с бинтами. Приподнимая сутану грациозным жестом, как шлейф, Манега показывал ноги в шегольских лакированных туфлях с бантами и в шелковых тонких, почти ажурных чулках.

Сплетня, казалось, окончательно приунывшая, воспрянула духом, подняв свою шипящую змеиную голову.

К весне имя аббата Манеги все чаще и чаще сплеталось в гостиных с именем княжны Варвары Дмитриевны Басакиной, имевшей заглазную кличку «синеокой Барб».

В самом деле, княжна была счастливой обладательницей больших синих глаз. Эти глаза с томной поволокой и немного влажной, немного темной окраской век так шли к ее слегка тяжеловатой русской красоте. По отцу княжна была настоящей княжной, хорошей древнетатарской породы. С материнской же – текла в ее жилах купеческая кровь. Покойный князь Дмитрий женитьбой на замоскворецких миллионах поправил свои по всем швам трещавшие дела.

От отца княжна Варвара наследовала тонко и тщательно очерченный нос с горбинкой, с нервными, трепещущими ноздрями. Руки – белые, узкие, с длинными пальцами, с ногтями-миндалинами – она тоже получила от отца. Все остальное: и рост, и волосы, пышные, густые, – все это было уже материнским благословением.

Отец и мать умерли почти вслед друг за другом, когда княжна была еще в Смольном. Единственная дочь, она вместе с громадным наследством получила неограниченную свободу. Она не спешила расстаться с нею, хотя женихов – и завидных женихов – сватался угол непопчатый.

У себя на Фонтанке синеокая княжна Барб жила наездом, урывками, девять или десять месяцев в году скитаясь за границей. Ее видели в Судане с каким-то молодым англичанином атлетического сложения. Они путешествовали вдвоем, как супруги. Ездили на верблюдах, спали в пустыне, под звездами африканского неба, в шатрах. Сопровождал их целый отряд проводников-телохранителей из арабов.

Но в Петербурге жизнь синеокой Барб была, как говорят, без сучка без задоринки. Мало выезжала, еще меньше принимала у себя и, зная свою склонность к полноте, придерживалась темных, гладких платьев.

Вот и сейчас, беседуя с глазу на глаз с аббатом в гостиной среди китайских ваз, старинных картин в потускневших рамках и светлой людовиковской мебели с золочеными ножками и подлокотниками, переходящими в головы грифов, княжна – в черном платье. Это скрадывает пышность форм, сообщая всей фигуре что-то монашеское.

В большие зеркальные окна струится погасающий майский день. И все так спокойно и мягко. Солнце загорается бликами на большой, стоящей у окна голубой вазе, обвитой страшным драконом, зажигает теплые, трепетные искорки на орнаментном золоте широких массивных рам с потемневшими холстами.

– Вы скоро уезжаете, аббат?

– Через две, самое позднее – три недели я должен быть в Риме.

– Должны?

– Меня зовут дела исключительной важности. Я и вам, княжна, советую поспешить... иначе...

– Иначе? – подхватила Барб.

Манега, спохватившись, закусил губы.

– Может что-нибудь случиться? – с тревогой спросила княжна.

Он улыбнулся. В оскале зубов, сверкающих, крупных, было что-то хищное. Скошенный лоб Манеги и плотно прижатые к черепу уши делали эту улыбку похожей на улыбку тигра.

Она вдруг погасла. Неподвижный и строгий, почти вдохновенный был Манега.

– Кто знает, как развернутся события? Никто не знает! Один только Бог. Но, во всяком случае, я советую спешить. И если вы, княжна, явитесь в Рим неделю спустя вслед за мною, вы скорее обрадуете его святейшество своим переходом на лоно католической церкви.

– Это было давно моей заветной мечтой... А теперь, благодаря вам...

Большие синие глаза смотрели на Манегу. В этом взгляде были и экстаз, и молитвенное обожание, и самая земная влюбленность к этому «кавалеристу» в черной траурной сутане.

Княжна вспыхнула румянцем. Вся горела. Затрепетали тонкие ноздри. Вздрагивая, поднимались и опускались темные веки. Тяжело дышать, как в душный день перед грозой.

Синеокая Барб стояла на коленях, ловила его руки. Аббат не отнимал их. Упала на ковер шпилька, другая. Распружинившись, волною, тяжелой и плотной, упали волосы...

Гибким кошачьим движением аббат схватил густую прядь этих волос и, скользя пальцами все выше и выше, стиснул их до боли у самого затылка и властно, со зверским выражением, притянул к себе голову княжны. На ресницах ее дрожали крупные слезы. Послушно приоткрылись губы. Другой рукой Манега взял белый полный подбородок и, надавливая ладонью горло, целовал княжну в губы, долго Целовал... Пока сам не оторвался. Княжна в каком-то истерическом забытьи опустила на ковер и, как Магдалина, закрыв волосами лицо, осталась неподвижной. И только чуть вздрагивали плечи.

Манега побледнел. Горели на щеках два алых пятна. И улыбнулся. Так улыбается, досыта полакомившись человечинной, тигр с окровавленной пастью и с капельками крови на седых «усах».

Манега вернулся к себе в «Семирамис»-отель, напоминающий мрачным фасадом своим гранитный замок.

Обеденное время. Сквозь стеклянные двери доносила тягучие, ноющие звуки румынских скрипок.

Международная толпа нарядным человеческим месивом наполняла обширный вестибюль.

Манега подошел к монументальному, «аршин проглотившему» блондину-портье, расшитому галунами. Аббата и человека с аккуратно подстриженной светлой бородкой в кепи с позументами разделял прилавок, покрытый стеклянной доской. Темные глаза Манеги встретились с холодными, светлыми глазами портье.

– Вы подниметесь ко мне, – тихо сказал по-немецки Алоис Манега.

– Слушаю, господин аббат, – так же тихо и так же по-немецки ответил портье, брезгливо отмахиваясь от лепетавшего ему что-то мальчика в красной рубашке и в шапочке с павлиньим пером.

Манега занимал дорогой номер из двух комнат с ванной. Стук в дверь. Вошел портье.

Хозяин и гость обменялись рукопожатием.

– Я в вашем распоряжении, господин аббат.

– Садитесь, ротмистр Гарднер. Садитесь, курите, вот сигары. Нам есть о чем поговорить. Адольф, главный портье «Семирамис»-отеля, опустился в кресло.

2. Солдаты великой армии

Откинувшись на спинку дивана, вытянув ноги в лакированных туфельках, играя тупыми по моде кончиками из аббат молвил:

– Итак, дорогой ротмистр, вы, – нас никто, надеюсь, в подслушивает? – вы со своим паспортом гражданина свободной Гельвеции будете как за каменной стеной. Можно сказать наперед, как бы ни сложилось общее положение Швейцария останется нейтральной. Что же касается меня, в то время, как вы здесь будете нужны более, чем когда бы то ни было, я возьму на себя Рим. Вечный город обещает самом недалеком будущем сделаться интереснейшим политическим центром.

– Господин аббат говорит с такой уверенностью, словно события уже назрели.

– Натурально, милый ротмистр, события назрели! И еще как! Днем я был в посольствах и здесь, на Морской, и на Сергиевской. Люди, что называется, сидят на чемоданах...

– Странно, – задумчиво произнес ротмистр Гарднер, поглаживая светлую бороду свою, – никаких предупреждений, все тихо, мирно...

– Перед грозой всегда и солнце светит, и душно, и овладевает сонливость, а потом вдруг все небо заволакивается тучами, сверкает молния, и... вы, надеюсь, понимаете, ротмистр, мое фигуральное сравнение?

– Понимаю, господин аббат. Я готов ко всему, я солдат моего императора и, что бы ни случилось, твердо буду стоять на своем посту. Сколько я вижу, слышу, сколько телеграмм проходит через мои руки! Здесь в этих галунах портье в вестибюле «Семирамиса» я принесу гораздо больше пользы своему отечеству, чем если бы командовал эскадрой и даже целым полком, при этом оказывая славные, доблестные подвиги. Я к вашим услугам, господин аббат, что вы хотели мне сказать?

– У вас хорошая память?

– Я вдвойне обладаю «профессиональной памятью». Вы могли убедиться.

– Отлично! По крайней мере, не надо записывать. Запись должна быть под черепом, – это самое надежное. Итак, во-первых, добудьте эту каналю Дегеррарди... Я приказываю немедленно же явиться ко мне. Два дня пропадает. Забудыга, пьяница, бабник, но отличный агент, силен, каторжная совесть и невероятный наглец. Незаменим на маленькие дела. Я его немедленно командую в Сербию. Там, в Белграде, он поступит в распоряжение милейшего полковника Августа Кнора, щеголяющего такой же самой униформой, как и почтенный коллега его – ротмистр Гарднер. Затем дальше, вы имеете понятия о некоей мадам Карнац, директрисе, или просто содержательнице «института красоты»?

– Слышал. Где-то на Конюшенной?

– Наведите о мадам Карнац самые точные справки, – предложил аббат Гарднеру. – Она может быть нам очень полезна. Я не думаю, чтобы она являла собою закованную в броню добродетель. Содержательница института красоты это – что-то близкое содержательнице «института без Древних языков». В лучшем случае – отставная содержанка, в худшем – особа с весьма и весьма темным прошлым. Повторяю, эта особа необходима. У нее реставрируют свою увядающую молодость многие светские дамы, жены людей с видным положением. Кстати, узнайте, бывает ли там госпожа Лихолетьева? Затем у этой Карнац имеется сожитель, субъект с внешностью типичного фокусника. Говорят, определенно уголовная фигура. Но своим ремеслом он защищен, как еж иглами или черепаха роговым панцирем. Этот шарлатан позирует на маленького современного Калиостро. Он возвращает пожилым и старым дамам не только вторую или третью, но даже первую молодость. Где-то за границей он постиг следующий секрет: препарируют кролика, берут какую-то пленку и свежую, теплую, влажную от крови натягивают, на дряблое морщинистое лицо. Как это делается технически, я не знаю, но, словом, в результате

кожа лица обновляется, как у девушки. Этой кроличьей пленки хватает на месяц. Затем – следующая операция в таком же роде.

В холодных, светлых глазах ротмистра Гарднера отразилось удивление.

– В первый раз слышу! Но это колоссально, господин аббат! Пирамидально. Однако неужели это правда?

– Правда! – скрепил Манега. – Этот шарлатан в большом фаворе у тех вельможных старушенций, которым он возвращает их первую молодость. Вы понимаете, такая интимность, такая постоянная зависимость от искусных пальцев господина с внешностью фокусника, – все это располагает к излишней откровенности. Человек ловкий, – а в ловкости этого проходимца я не сомневаюсь, – сумеет всегда выудить то, чего мы пожелаем. Войдите с этой достойной парочкой в соглашение. Заинтересуйте их материально. Вы доставите мне на самых ближайших днях точный список всех дам, пользующихся услугами «института красоты». Я знаю тем более, что там обдeldываются делишки, ничего общего с наведением красоты не имеющие, включительно до сводничества. Я не пожалею денег, пообещайте аванс. Если они пойдут навстречу нам, в чем я ни сколько не сомневаюсь, я выпишу предварительный чек на пару тысяч. Дальнейшая плата будет зависеть от их работы. «Институт» я поручаю всецело вам. Жду список и очень хотелось бы увидеть в нем имя Лихолетьевой.

– Есть, господин аббат! Все будет сделано, – коротко по-военному, дернул вниз головой ротмистр Гарднер. – Имеете еще что-нибудь приказать?

– Мой милый ротмистр, я ничего не приказываю, я советую, направляю, обращаю ваше внимание. Мы с вами солдаты великой армии германизма, и каждый из нас служит ей по-своему. Вы, вторым окончивший академию генерального штаба, служите в этой ливрее, ваш покорный слуга – в сутане аббата. А сколько еще переодеваний, маскарадов, которым позавидовал бы любой сыщик или трансформатор? Но я не задержу вас, вы сидите как на иголках, да и вправду, ваше отсутствие могут заметить. Как это странно: здесь вы со мной близкий, свой, без маски, а там, внизу – сотни болванов, ничего не подозревающих, распекают вас, тычут свои карточки, серебряную мелочь, требуют корреспонденцию. А ведь набегает, сознайтесь, помимо двойного жалованья, – из посольства и генерального штаба? Сколько еще наберется чаевых?

– В месяц рублей около трехсот, – произнес эту цифру с видимым удовольствием ротмистр Гарднер.

– Ну, вот, не буду вас задерживать. Последняя моя просьба, – дайте телефонный звонок Шацкому и барону Шене фон Шенгауз. Впрочем, нет, не надо... Этот барон с девичьей мордочкой сам забежит ко мне попозже. Столько дел, голова идет кругом, того и гляди все перепутаешь!

– А между тем память у господина аббата колоссальная, я убеждался в этом неоднократно. Помнить все, не записывая, так помнить! В особенности, принимая во внимание тот рассеянный светский образ жизни, который ведет здесь господин аббат...

– Ах, как все это надоело, Гарднер!.. Эти завтраки, обеды, вечера, ужины. Но в интересах дела необходимо везде бывать, все слышать и все видеть. На меня зовут гостей, как на заезжего шпагоглотателя. Пусть! Я смеюсь в душе. Но зато какой драгоценный материал собираю этак походя, случайно, как говорится, кончиком уха. Из этих цветных камешков составляется великолепная сложная мозаика.

Портье Адольф, швейцарский гражданин, оставил не без сожаления в пепельнице добрую половину ароматной сигары. Но не дымить же ею на весь коридор и в вестибюле! Портье должен знать свое место...

Гарднер вытянулся, щелкнул каблуками.

– Имею честь кланяться, господин аббат!

Он уже двинулся к дверям, но, вспомнив что-то, вынул из бокового кармана «униформы» несколько визитных карточек.

– Совсем забыл! Нес господину аббату сегодняшних визитеров и чуть не забыл. На редкость блестящие визитеры – графы, князья, камергеры и даже один министр.

Аббат, небрежно читая на карточках звучно-внушительные имена визитеров, отбрасывал их. Но вот наименее громкое из них, – стояло всего-навсего Михаил Григорьевич Айзенштадт, – привлекло его внимание. Он усмехнулся язвительно в свои надушенные кавалерийские усы. Задержал в пальцах карточку.

– Айзенштадт! Вы знаете этого гуся?

– Еще бы, господин аббат! Одни называют его крупным мошенником, другие – не менее крупным финансистом.

– Я думаю, он – то и другое в одинаковой степени. Но, во всяком случае, этот Айзенштадт жонглирует миллионами. Дней десять назад он устраивал в мою честь обед. После обеда, тонкого, с обилием хороших вин, с лакеями в гетрах и аксельбантах, – сам он, впрочем, был и остался «мовешкой», засовывая в глотку чуть ли не половину ножа и без умолку болтая с набитым пищею ртом, – он увел меня, вернее, утащил в свой кабинет и атаковал с места, прижав к письменному столу своим животом и обдавая не совсем приятным дыханием.

– Монсеньор, – они все здесь произвели меня в кардинала, – монсеньор, вы можете мне устроить, я знаю, что вы можете, титул папского графа? Графа двора его святейшества? Я мог бы внести на благотворительные дела Ватикана довольно крупную сумму.

– Что вы называете крупной суммой?

– Ну, триста тысяч рублей... рублей, не франков!

– Это уже солидный фундамент для монумента будущему графу двора его святейшества... Но какую вы исповедуете религию? – продолжал свой рассказ аббат.

– Православную.

– Православную? Это гораздо хуже! Его святейшество жалуется милостями своими исключительно католиков.

Мой Айзенштадт сделал кислую гримасу и в досаде начал рвать ногти.

– Ах, монсеньор, как вы меня огорчили, как вы меня огорчили! Но не могу же я принимать католичество?!

– Почему? В России объявлена свобода вероисповеданий.

– А я все-таки не могу. Во-первых, неудобно. Моя звезда разгорается. Меня уже знают в сферах. А затем... затем, я уже был католиком.

– Тем логичнее вернуться опять на лоно вашей первоначальной церкви.

– Увы, монсеньор, это не моя первоначальная религия. Я до католика был лютеранином. Не думайте, пожалуйста, что действовал из корысти. Я ломал свои убеждения с болью... Но неужели так-таки никакой надежды? А если я округлю пожертвование до полумиллиона? Лишних двести тысяч за право остаться тем, что я есть! И наконец, если нельзя получить графа, то нельзя ли маркиза или даже барона? Я помирился бы на худой конец на бароне.

– Трудно, господин Айзенштадт. Постараюсь, но ничего не обещаю. Трудно!.. Больше шансов получить звание камергера двора его святейшества.

– Хорошо! Давайте мне камергера. Давайте! – вцепился обеими руками в мою сутану маленький, взъерошенный финансист. Я думаю, у этого человека никогда нет времени привести в порядок свои волосы.

Я соображал, он же меня теребил, не давая покоя.

– А ваш мундир камергерский красив? Много золота? Много красного? Есть ключи? Главное, ключи!

Я успокоил его обилием золота, красного цвета и двумя ключами.

Он выписал чековую книжку.

– Аванс, монсеньор, получите аванс. Половина вперед. Он выписал чек на двести пятьдесят тысяч. Я думаю, что мне удастся одеть эту нелепую фигуру в камергерский мундир. Надо

будет только изобрести особые заслуги по отношению к святейшему престолу. Хотя... хотя без малого полтора миллиона франков, увеличивших казну Ватикана, – это уже сама по себе заслуга!.. До свидания, ротмистр, отыщите этого беспутного Дегеррарди.

Оставшись один, аббат, довольный итогами дня и в особенности «обращением» княжны Басакиной, обращением, на которое возлагал большие надежды, вытянулся с торжествующей улыбкой всем гибким и упругим телом, напоминая резвящегося хищника. И хищно скрючились в воздухе пальцы, словно хватая кого-то невидимого за горло.

Затем, позвонив лакею и потребовав обед к себе в номер, Манега сел писать деловое письмо. Завтра курьер австро-венгерского посольства едет в Вену. Вместе с дипломатической корреспонденцией он захватит и письмо аббата, письмо, которое ни в коем случае нельзя доверить почте.

Аббат успел пообедать, успел кончить и запечатать письмо. Успел выкурить сигару.

Кто-то стукнул в дверь дважды концом трости.

– Войдите, барон, – ответил, не глядя, Манега.

Барон Шене фон Шенгауз оказался молодым, бритым щеголем в лакированных ботинках с песочными гетрами и в монокле. Женоподобный, приторно улыбающийся, пахнувший чем-то пряным, слегка припудренный, он приблизился к аббату вихляющей, кокетливой походкой. И сначала поцеловал протянутую руку, а потом они поцеловались в губы.

3. «Институт красоты»

Мадам Альфонсин Карнац терпеть не могла шумные, кричащие вывески.

– Фи, это дурной тон! Вывеска привлекает внимание тех, кому она вовсе не интересна и, наоборот, может отпугнуть именно тех, кто нуждается в чудодейственной помощи мадам Карнац, в ее лаборатории красоты и вечной молодости.

Многих дам тянет на Конюшенную, в этот подъезд с черной стеклянной табличкой, на которой выведено белой эмалью: «Институт красоты».

Многих... Но в этих посещениях привкус чего-то, даже не объяснишь толком – чего, но, во всяком случае, чего-то немножко запретного, немножко стыдного.

И хотя дамы общества знают друг про друга, что каждая из них бывает у мадам Карнац, но при себе лично даже самые близкие приятельницы, делившие одних и тех же любовников, даже они боялись проговориться.

Самое болезненное место женщины – ее внешность. И конечно, прежде всего хочется: пусть думают все, что она хороша и свежа от Господа Бога, а не от ухищрений мадам Альфонсин и целого парфюмерного магазина косметиков!

Мадам Карнац, эта полная, кругленькая женщина с крашеными волосами, казавшаяся тридцативосьмилетней, несмотря на все пятьдесят, умела держать язык за зубами.

– Мой профессией обязывает меня держать чужой секре, я вроде священник, или доктор, или адвокат.

Напрасно некоторые, изнемогая, умирая от любопытства, доискивались у мадам Альфонсин, – бывает ли у нее та или другая дама?

– Ma très chère мадам Альфонсин, скажите: лечится у вас княгиня Олонецкая? Ну, что вам стоит? Ведь я же знаю, что да! Это вы ее снабдили резиновым корсетом-панцирем для сохранения талии? Говорят, она спит в нем, – это правда?

В ответ плутовская улыбка.

– Я ничего не знаю! Мои клиентки взяли с меня слово, я им давал ма пароль доннер, абсолютни тайна, и когда меня спрашивают, биваете ли ви у меня, мадам Таричеев, я отвечай то же самый.

– И прекрасно делаете! Боже сохрани проговориться.

– Алор... Я очень рада, что ви так говорит, очинь рада! Же сюи тре контант. Я буду всегда держать ваш секре и никогда не видам чужой!..

Особенно добивались у этой особы, дурно говорящей на всех языках, кроме немецкого, бывает ли у нее Лихолетьева...

– Мы знаем, отлично знаем, что ей за сорок. А на вид – не более тридцати. Сознайтесь, мадам Альфонсин, она «делает у вас лицо»?

Сквозь непроницаемость сфинкса полная, кругленькая женщина улыбкой и глазами говорила:

«Может, и бывает, а может, и нет, а только вы ничего от меня не узнаете».

На самом же деле мадам Карнац не имела удовольствия считать Лихолетьеву своей клиенткой, а между тем была бы очень, очень рада. Клиентка, хоть и не особенно родовитая, но с таким завидным положением, сразу дала бы «тон» всему заведению. Тем более такую, как Лихолетьева, не спрячешь. Стоит ей однажды появиться в «институте», хотя бы самым незаметным образом, тотчас же весть об этом разнесется в обществе. Духи, которые мадам Карнац продает за двенадцать рублей флакон вместо обычной семирублевой цены магазинов, Альфонсинка будет продавать за пятнадцать и дороже. И будут платить, сами же распуская под шумок, что Лихолетьева душиется именно этими самыми и покупает их исключительно у Альфонсинки.

Рабочий день начинался в «институте» с одиннадцати утра. Съезжались дамы, заранее по телефону выговорившие себе то или другое время. Входили торопливо, нервничая, если долго не отпирали дверь. Еще увидит кто-нибудь! Предпочиталась густая вуаль. Совсем, как если бы они шли в дом свиданий.

Квартира глубокая, и никто не знал, как далеко простираются комнаты и что в них, ибо никто – из непосвященных, по крайней мере, – дальше «конторы» и двух маленьких гостиных не проникал. В этих гостиных с мягкой будуарной мебелью и множеством драпировок, глушивших всякий звук, ожидали клиентки своей очереди.

Обладавшая несомненным стратегическим талантом Альфонсинка рассаживала так их, что они пребывали в единственном числе, нисколько не подозревая за соседней дверью не только знакомых, а даже близких подруг, от которых нет никаких тайн. Никаких, за исключением одного – визитов на Конюшенную.

Мадам Карнац на каждом шагу подчеркивала, что ее клиентки – исключительно дамы из общества.

– Я строго держу мой мезон. Сначала ко мне пробовали приходиться кокоты и содержанки, ле фам антретеню. У них много деньги, они предлагали хороши гонорар. Но я отказывала им пар принцип, я не хочу, чтобы на мой энститю говорили плехо. Я женщина воспитани, деликатни, я умею корректно отказать без оскорбления самолюбий.

«Институт красоты» заключался в большой, светлой комнате, почти без мебели. Вернее, это была «специальная» мебель. Раздвижные кресла для полулежачих поз и с механизмом, поддерживающим голову. Какие-то диковинные, сверкающие металлическими частями приборы для электрического массажа, паровых ванн и еще чего-то. Прямая, твердая, покрытая белоснежной простыней кушетка предназначалась для ручного массажа. Альфонсинка держала двух опытных массажисток, высоких и сильных, с льняными волосами девушек, уроженок Швеции. Массажистки довольно часто менялись.

С негодованием оскорбленной добродетели заявляла мадам Карнац своим клиенткам, что «Петербург есть сами развратни город». Стоит появиться хорошенькой женщине как на ее пути к честному труду встают всякие соблазны и в конце концов, она поступает на содержание.

Трудно сказать, где кончалась у мадам Карнац действительная польза, ею приносимая клиенткам, и где начиналась область уже настоящего шарлатанства. Большинство кремов и мазей, которые она по дорогой цене всучала и навязывала наиболее тароватым и ухаживающим за собою дамам, если и не приносили вреда коже, то и пользы от них не было никакой.

Самое ремесло Альфонсинки требовало бойкого «очковтирательства». Спрашивают ее: – Можно, чтобы у меня грудь уменьшилась или, наоборот, увеличилась?..

Ответ непременно должен быть утвердительным, иначе пропадет всякая вера в магическое всемогущество «института красоты».

И вот Альфонсинка, смотря по желанию пациентки, начинает «уменьшать» или «увеличивать» ее грудь с помощью неизменного массажа, или тех резиновых корсетов, что приписывались будуарной сплетней княгине Олонецкой.

Были в ходу гуттаперчевые маски для сохранения свежести лица. Пропитанные каким-то клейким веществом, надевались они как плотный растягивающийся бинт на все лицо, и самая красивая женщина превращалась в страшилище в коричневой маске.

Но какая же роль в этом заведении господина с внешностью фокусника, по словам аббата Манеги – «маленького, современного Калиостро»?

Это был маг и чародей. Это был жрец, знавший гораздо больше, чем Альфонсинка со своими скандинавского происхождения массажистками, вместе взятыми.

Этот курчавый, с пышными, как смоль черными бакенами брюнет в паспорте звался Седухом – имя, в высшей степени отзывающее экзотикою левантийских и греческих берегов.

Седух может быть фальшивомонетчиком, контрабандистом, пиратом, словом – человеком профессии, далеко не поощряемой судебно-полицейскими властями.

Попробуйте определить национальность человека, называющегося Седухом! Грек – не грек, левантинец – не левантинец, армянин – не армянин, турок – не турок, но, во всяком разе, несомненно что-то восточное и восточное с привкусом авантюризма.

Но какое кому дело, как кто прописан в участке? Эта «интимная» сторона вряд ли кого касается.

На визитных карточках и среди своих вельможных и влиятельных пациенток Седух значился Горацием Антонелли.

Синьор Горацио Антонелли.

Он говорил по-итальянски в такой же мере, как мадам Альфонсин – по-французски.

– Я долго жил на Востоке и успел основательно позабыть родной язык, – пояснял синьор Горацио тем, кто заговаривал с ним по-итальянски.

Аббат Манега получил о нем верные сведения. Синьор Горацио действительно оперировал – и удачно, отдать ему справедливость, – кроличьими пленками, покрывая дряблую морщинистую кожу тоненьким слоем молодой, свежей, которая в несколько дней срасталась совершенно с лицом. Это была мучительная операция. Синьор Горацио тончайшей золотой иглой пришивал к старой коже новую. Шов проходил вдоль всего лба у самых волос и, спускаясь к вискам мимо ушей, соединялся на нижней части подбородка.

Молодой кожи хватало на месяц, а затем – новая операция, новые швы и двое-трое безвыходных суток в лежачем положении в совершенно темной комнате...

Где, когда и у кого постиг синьор Антонелли свое чудодейственное искусство возвращать отжившим старухам молодость лица, – этого никто не знал. Сам же Антонелли, как истый авгур, не любил распространяться на эту тему.

Он преуспевал. Текло к нему золото пригоршнями, и чего же больше?..

Работать он мог бы отдельно от Альфонсинки, – тем более, что работа его производилась, ввиду ее сложности и длительности, на дому у клиенток, – но Горацио предпочитал общую фирму с мадам Карнац. Была ли у них общая постель? Вероятно, ибо и ссорились, и мирились, и попрекали они друг друга, как только могут это делать любовники.

У синьора Горацио, благодаря его исключительной профессии, завелись и побочные доходы. В этом проходимце, неизвестно откуда появившемся, заискивали элегантные чиновники, губернаторы, финансисты, банкиры. Через своих: сановных старух Антонелли проводил концессии, устраивал дела, выхлопывал чины, «декорации».

Это он наладил было совсем почти Айзенштадту действительного статского. Но если генеральский чин и прошел мимо самого носа шустрого и бойкого финансиста, – в этом виноват был сам Айзенштадт, скомпрометировавший себя в недобрый час, едва ли не за день до утверждения какой-то не совсем чистоплотной аферой. В крупном масштабе это называется аферой, в мелком же – просто мошенничеством.

Рабочий день кончился. Уже сумерками ушла последняя пациентка, болтливая барынька, унесшая рублей на семьдесят всякой всячины в матовых баночках, в граненых флаконах, в корбочках, в металлических трубочках.

Мадам Карнац и синьор Горацио обедали за круглыш столом. На пороге выросла гладко причесанная старая дева – конторщица. За сорок рублей в месяц она записывала клиенток, выдавала квитанции, вела все торговые книги «дома».

– Мадам Альфонсин, я могу уйти?

– Можете, можете, – наливая себе и жгучему бакенбардисту красного вина, ответила мадам Альфонсин.

Задрезжал с парадной звонок. Горничная впустила кого-то, вернулась.

– Прием кончился, кто там еще? – нахмурился брюнет.

– Какая-то дама спрашивает вас, барыня!..

– Вот еще, не дадут спокойно скушать обед! Просите контора.

Мадам Альфонсин в темно-коричневом бархатном платье шариком выкатилась в «контору». Перед нею была скромно одетая, вся в черном, пожилая некрасивая особа.

– Можно у вас записаться на завтра?

– Вам?

– Нет, не мне, – улыбнулась дама, показав довольно неискусные вставные зубы, – я пришла от госпожи Лихолетевой.

– О, конечно, конечно! – просияла Карнац. – Когда ее высокопревосходительству будет угодно, я всегда счастлив видеть у себя экселлянс. На который час?

– В половине двенадцатого они могут приехать.

– Я будить ждаль ровно польчаса двенадцатый.

4. Беспокойный жилец

С тех пор, как Дегеррарди-Кончаловский обосновался здесь, житья не было всем окружающим соседям. Да и не одним соседям. Он успел терроризировать не только «свой» коридор, но весть об этом легендарном жильце и отголоски его шумного поведения долетали в соседние этажи – вниз и вверх.

В гостинице, даже не первой-классной, такой субъект был бы немислимым в «несокращенном виде». Ему предложили бы:

– Или ведите себя иначе, или с Богом – скатертью дорожка!..

Но в меблированных комнатах с их более скромной и терпеливой публикой – иные нравы. «Свободе личности» дается простор иногда прямо-таки неограниченный.

Возвращаясь глубокой ночью, – а возвращался он в это время сплошь да рядом, и к тому же еще не один, а в обществе какой-нибудь пестро одетой, нарумяненной особы, – он стучал немилосердно каблуками, напевая и насвистывая, что взбредется.

Валялся он у себя в постели до полудня, а то и позже. Иногда с вечера приказывал разбудить себя утром. Но не успевала горничная, согласно инструкциям, постучавшись, открыть дверь, как в нее, брошенный меткой и сильной рукою, летел сапог и, перекликаясь по всем закоулкам, кидая соседей в дрожь, несло зычное:

– Вон! Спать человеку не даешь, мерзавка!..

Он истреблял неимоверное количество папирос. Прислуга то и дело должна была бегать в лавочку. И, Боже упаси, замешкаться!..

Этот жилец-бич звонил до тех пор, нажимая кнопку, не открываясь, наполняя все и вся длительным, бесконечным дребезжанием, пока не мчались к нему со всех ног горничные, коридорные, телефонный мальчик и даже разгоряченная плитою кухарка. Кухарка, потому что в меблированных комнатах желающие могли получать обед.

Раз на один из таких «бенефисов» явился управляющий конторою и начал довольно резко выговаривать беспокойному жильцу, грозя выселением.

В ответ – пара здоровенных лап, – одна украшена у запястья татуированным якорем, – сгребла дерзкого управляющего в охапку, и, еле вырвавшись из этих тисков, бедняга Ахиллесом быстроногим пустился через весь коридор, сквозь строй смятенных, боязливо жавшихся к порогам своих комнат жильцов.

А вслед ему несло:

– Каналья, мазурик! Я тебя научу, как делать замечания порядочным людям! С шушерой привык иметь дело! В двадцать четыре часа закрою тебе твой клоповник!

Это магическое на Руси «в двадцать четыре часа» произвело соответственное впечатление.

Управляющий – многосемейный отставной канцелярский служитель сиротского суда или мещанской управы, во всяком случае, одного из этих архаических учреждений – махнул рукою.

– Бог с ним! Пускай делает что хочет. Пускай бегут жильцы! Искалечит еще, поди, на старости лет! И кто его знает, может быть, и впрямь сила! Коли так грозит, значит, в своем полном праве.

Управляющий конторою преисполнился к обидчику своему тихой, затаенной ненавистью. Бессильной ненавистью маленького человека. Он раскрывал домовую книгу, читал и не верил глазам.

– Штурман дальнего плавания! Только и всего?! Неужели? Птичка-невеличка, а вот подите ж...

И бедняга в мешковатом, старомодном сюртуке, с плохо выбритой, застарелой канцелярской физиономией ломал свою немудреную голову, доискиваясь, не скрывается ли за этим «штурманом дальнего плавания» какой-нибудь «подвох»?..

Вообще, голова эта многого не могла вместить. В самом деле, штурман дальнего плавания, а держит себя, ну, как, по крайней мере, генерал-губернатор. А 59-й номер черным по белому прописан, уж чего яснее: «Галеацо да Лузиньян, король Иерусалимский и Кипрский». Сомнений никаких. Документы в порядке, все честь честью. Король! Все его королевство – десять шагов длины и восемь ширины. Да и за это платит не совсем аккуратно. Хочешь не хочешь, напоминать приходится. Король! А соблюдает себя тихо и мирно. Никогда от него никаких неприятностей...

Да, жизнь какая, прости Господи, такая неразбериха на каждом шагу – ногу сломаешь...

«Гроза» коридора и соседних этажей, потому что он заглядывал и вверх и вниз в чайной пикантных знакомств и встреч, именовалась Генрихом Альбертовичем Дегеррарди. Когда-то он был действительно штурманом дальнего плавания. Маленький якорь на левой руке – неизгладимое клеймо былой скитальческой профессии. Но от нее теперь ничего не осталось. Ничего, кроме твердой, очень твердой поступи вразвалку, именно такой, словно Генрих Альбертович всегда и везде чувствует под собой качающуюся зыбкую палубу тех пароходов, которые украшал в былое время своей блистательной особой.

Дегеррарди франтил. Щегольство дешевого, дурного тона. Яркие галстуки, клетчатые костюмы. Цилиндр, сдвинутый залихватски набекрень.

И внешность – яркая до неприличия! Естественный румянец алой густотой своей походил на грим. Да и все лицо казалось тщательно загримированным. Буйные, растрепанные усища казались наклеенными. Густая шапка темных волос, ни дать ни взять – парик с пробором посередине. Глаза – карие, наглые, казались чужими, фальшивыми, взятыми напрокат с другого лица.

Поздним утром, выкурив в постели десяток-другой папирос и выпив стакан крепкого чая, Генрих Альбертович уходил на весь день. Возвращался поздно, а то и совсем не возвращался.

Он имел успех среди женщин, для которых любовь – уличное ремесло. Он приводил их. Они сами являлись к нему по утрам, когда он валялся на кровати. В этих случаях горничные и коридорные, кроме папирос, таскали еще и пиво из портерной, находившейся внизу, в этом же самом доме.

Из мужчин частым посетителем Генриха Альбертовича был худой, с костистым лицом, безусый и безбородый блондин в форме болгарского кавалериста с погонами подпоручика. Назывался он Шацким. Этот Шацкий немилосердно бряцал по лестнице длинным палашом в металлических ножнах. На темно-голубой груди поношенного мундира – парочка боевых болгарских орденов.

Молодой человек без определенных занятий, Шацкий поехал на первую балканскую войну добровольцем. Говорили, что во время осады Адрианополя Шацкий пьянствовал, играл не совсем чисто в карты и генерал Иванов хотел его выслать.

А сам Шацкий, вернувшись, говорил другое. По его словам, он принимал деятельное участие в боях, в кавалерийских разведках. Вошел в Адрианополь первым вместе с эскадронам полковника Марколева, и в результате – чин болгарского подпоручика и два ордена. Генерал Иванов собственноручно перед фронтом полка украсил ими грудь отважного русского добровольца.

Улыбаясь, Шацкий напоминал вытянутый обглоданный череп. Длинные зубы, криво тесня друг друга, беспорядочно гнездились в бледных и вялых деснах золотушного молодого человека.

Шацкий, подобно Генриху Альбертовичу, являл столь же странной, сколь же подозрительной особой своей такую же беззаботную фигуру. Ни службы, ни дела, ни хоть бы тени, по

крайней мере, видимых занятий каких-нибудь... А, между тем и тот и другой были всегда при деньгах, чуть ли не ежедневно оставляя десятки рублей в трактирах и шантанах.

Дегеррарди, убедившись, что здесь, в этих комнатах, ему сам черт не брат, распоясался окончательно. С папиросой в зубах, руки в карманах, слонялся он по своим и чужим коридорам, устраивая форменную облаву на тех женщин, которые имели счастье или несчастье пригляднуться ему...

Так называемых «веселых барышень» было немного. Преобладали труженицы, холостячки, служившие в конторах, банках, ломбардах, крупных магазинах.

Ко всем Генрих Альбертович применял один и тот же шаблонный метод, в духе штабных писарей-сердцеедов.

– Сударыня, вы очаровательны! Вы покорили меня своими глазами. Можно к вам зайти на чашку чая?

С веселыми девицами без предрассудков легче было столкнуться. Но у порядочных женщин ему не везло. Разухабистый вид этого яркого, «загримированного» молодца отпугивал даже тех, которые не избегают случайных встреч, если мужчина приятен и внушает доверие. Одни, молча, с каменным лицом спешили пройти мимо Генриха Альбертовича, другие посылали ему «дурака» и «нахала», третьи грозились пожаловаться управляющему и даже полиции.

Но с него – как с гуся вода. Этот человек не боялся полиции. По крайней мере, его видели дружески беседующим у подъезда с местным околоточным и помощником пристава.

Особенно приглянулась Генриху Альбертовичу стройная барышня с богатейшим узлом светло-пепельных волос и серо-голубыми, «васильковыми» глазами. Во всем – в манере одеваться, скромно, почти бедно и в то же время с хорошо воспитанным вкусом, в какой-то неуловимой строгости хрупкого, изящного облика, в мелочах, в умении носить голову, в красивой узкой ручке – угадывалась девушка, знавшая другие времена и случайно попавшая в эти комнаты. В том, как она говорила с прислугой и как, в свою очередь, прислуга отвечала ей, чувствовалось дворянское дитя хорошего общества, с самых ранних лет возвращенное гувернантками.

И фамилию девушка носила, записанную в бархатную книгу. Был один из Забугиных сокольничим при Василии Темном. А Вера Забугина, оставшись круглой сиротой, да фце грабительски обобранная тем, кто был ближе всех ей – родной сестрой Анной, – служит в технической конторе за пятьдесят рублей в месяц, живет в меблированных комнатах на Вознесенском, и такая каналья, прошедшая огонь и воду, и медные трубы, как Генрих Альбертович, не дает ей проходу.

Он подстерегает ее в коридоре, на улице, дежурит у подъезда, норовя перехватить ее в пять часов после службы.

Это преследование отравляло существование девушке. Она пожаловалась Загорскому. Дмитрий Владимирович Загорский жил в этих самых комнатах. Он знаком был раньше с Верой Клавдиевной. Они встречались в обществе. Она только что вернулась в Петербург из Парижа, где воспитывалась в монастыре «Sacré-Coeur», а он был гвардейским кавалеристом, жившим широко и блестяще. Его звали в свете «великолепным Горским», – сокращенное от Загорский.

И вот, не прошло и четырех лет, они встретились в длинном казарменном коридоре меблированных комнат «Северное сияние».

Оставшаяся позади катастрофа наложила на Загорского отпечаток. Немного постарел, немного осунулся, в углах рта появились скорбные складки. Высокий и бритый, с легкой, подвижной, спортсменской фигурой, недавний гвардеец все же был еще интересен. Он умел носить штатское, как носят немногие мужчины. Сохранил былую, немного надменную уверенность в себе и, по уцелевшей привычке, так непринужденно владел моноклем – на зависть любому дипломату.

Выслушав девушку, в голосе которой дрожали слезы обиды и гнева, он спокойно молвил с учтивым поклоном:

– Вера Клавдиевна, это животное больше не будет к вам приставать.

Он объяснился с Дегеррарди. «Объяснение» было короткое, на площадке лестницы.

– Послушайте, вы, – обратился Загорский к Генриху Альбертовичу своим грациозным баритоном, – если вы посмеете преследовать мою знакомую, оскорбить ее словом или даже взглядом – я разделаюсь с вами по-своему.

– Хотел бы я знать... – начал хорохориться Дегеррарди, покручивая ус.

– Я вас пристрелю! Так и знайте!

И, круто повернувшись, Загорский оставил Дегеррарди в состоянии редкого для этого наглеца обалдения.

Генрих Альбертович сразу почувствовал, что это не пустая угроза. Надо было видеть лицо Загорского. Штурман дальнего плавания сделался по отношению к Вере Клавдиевне тише воды ниже травы, да и вообще присмирел.

5. Аббат Манега не теряет времени

– Хотите чаю, барон?..

– Мерси, дорогой аббат, я ничего не хочу, ничего... – томно потягиваясь и откидываясь на спинку дивана, жеманно, усталым голосом тянул барон. – Хотя... пожалуй, выпил бы стакан теплого, кипяченого молока... это полезно для горла... Это смягчает...

Аббат нажал кнопку.

– Вы получите ваше молоко, барон. В ящичке сигары, – курите. Впрочем, вы, кажется, не курите?

– Да, я не курю, – поводя головой, словно охорашиваясь у воображаемого зеркала, ответил Шене фон Шенгауз, – курить это – грубо. И потом пахнет от тебя табаком. Я люблю, когда пахнет от мужчин, в этом есть сила, есть пол! Но от меня самого – не хочу, не хочу! – с капризной гримасой отмахивался барон обеими руками, холеными, женственными, в перстнях.

Явился итальянец лакей, ответил почтительно-одобрительным кивком на слова Манеги, по-итальянски заказавшего принести стакан теплого кипяченого молока, и вышел так же бесшумно и чинно, как и явился.

– Что нового? – спросил аббат.

– Ничего. Сегодня обедал у Корчагиных. Большой открытый дом, хорошо кормят, но, кажется, я перестану бывать. Чересчур смешанное общество, люди моего круга и тут же какие-то полупочтенные... Бог их знает, кто и что... Какой-то певец, какой-то земский начальник... Вообразите, господин аббат, я с ужасом наблюдал, как он ест... Неопрятная борода. Вообще... Нет, я стою твердо за кастовое начало. Каста – прежде всего.

– Были интересные люди, интересные разговоры?

– Ничуть! Говорили какие-то глупости. Корчагины уже на отлете... Даже мебель в чехлах. Собираются на курорты. Сам Корчагин едет полоскать свой желудок в Карлсбад. Его жена – в Гамбург. Что-то скучно на немецких курортах... Я сам немец с головы до ног по крови, убеждениям и симпатиям, но не люблю наших курортов. Я люблю солнце, юг... Забраться куда-нибудь в Сорренто. Смуглые, стройные, гибкие мальчишки. Знаете, господин аббат, мы собирались – это было на Капри, в одной пещере, на берегу моря. Искусственный грот, сооруженный Артуром Круппом. И вот мы возродили античность, да, да, античность!.. Свет луны, факелы, вино... Мы изображали сатиров, у каждого были такие меховые панталоны, и мы гонялись за юными вакхами... Прелестные мальчишки в леопардовых шкурах, на головах венки... Надо уметь развлекаться, создавать новые формы... Ах, милый аббат, сколько воспоминаний!.. Как было весело... Бритое, припудренное личико растянулось в улыбку, и веселящийся молодой человек провел языком по губам, искусно тронутым кармином. Сверкнули белые, влажные зубы...

Манега не слышал. Он думал другое. Он спросил:

– Много русских отправится к нам в Австрию и Германию на курорты?

– Как?.. Да... Да... Много, очень много, – не сразу ответил вспугнутый, удивленный неожиданным вопросом барон. – Десятки тысяч, а может быть, и больше.

Дрогнули усы аббата. В глазах что-то вспыхнуло и погасло.

– Что говорят у вас в департаменте?

– Мой приятель граф Эберлинг получил назначение на Балканы первым секретарем миссии... Да, Бирючев... Ах, этот Бирючев... Какие он сегодня смешные анекдоты рассказывал! Вообще, он комик, такой милый буффон. Когда был назначен Сребдольский министром, этот... ведь вы знаете он дружил с покойным Эренталем, он никогда не расстаётся с моноклем, чуть ли не спит с ним. Когда его назначили, этот Бирючев бегал по департаменту, вставив серебряный полтинник в глаз... Это было адски забавно!..

Аббат строго посмотрел на барона, и тот невольно съезжился под этим властным приказывающим, взглядом.

– Барон, вы только что сказали, что вы немец с ног до головы! Недостаточно одних слов, необходимы дела, факты, поступки... Если вы узнаете что-нибудь интересное и полезное для серединных империй, вы должны сообщить либо мне, пока я здесь, либо тем, кого я вам укажу. В политике нет ни большого, ни малого, в политике все важно. Вы обещаете?

– Естественно, обещаю. Разве можно отказать вам в чем-нибудь, милый аббат? И наконец, я так высоко ценю императора Вильгельма. В таком случае... да, вспомнил... Я никакого значения не придавал, но теперь, после ваших слов... Может быть, это интересно? Сегодня обедал у Корчагиных один чудак... Фамилия довольно плебейская – Корещенко. Из купцов, миллионер, одевается, как сапожник. По профессии, кажется, инженер, инженер-дилетант. Учился в Нанси и еще где-то. Он работает, – он рассказывал, – над какими-то новыми «истребителями». Это – лодки, понимаете, лодки необыкновенной скорости. Там пушки и еще что-то... Говорил, что от его «истребителей» не спасется ни одна субмарина. И там есть радиотелеграф...

Аббат укоризненно покачал головой.

– Барон, вы – ходячее легкомыслие. Вы вспомнили какого-то дурака, неумеющего есть, и забыли сказать об истребителях. Как фамилия этого миллионера?

– Корещенко.

– Довольно! Все остальное я узнаю сам. А вот и ваше молоко.

Барон Шене фон Шенгауз выпил «свое» молоко, посидел еще минут пять и, каким-то изнемогающим голосом жалуясь на усталость, поспешил откланяться, поцеловав у Манеги руку.

Видимо, это было взаимное удовольствие. Аббат не спешил отдернуть свою руку, а молодой человек усердно скользил губами по суставам отменно вымытых, надушенных пальцев...

Аббат долго писал после ухода своего гостя.

Утром, аббат еще сидел в ванне, ворвался с громким стуком Генрих Альбертович Дегергарди. Манега, свежий и бодрый, вышел к нему в мохнатом купальном халате.

– Господин аббат, имею честь явиться! По вашему приказанию я чуть свет был поднят на ноги...

– Вы все тот же? Вламываетесь, как лошадь. Где вы пропадаете?..

– Каюсь, господин аббат. Дела романического свойства...

– У вас нет чувства меры. Вас все тянет в грязь. Почему вы живете в каких-то меблированных комнатах, когда могли бы жить в приличной гостинице?..

– Там я себя гораздо свободнее чувствую. В гостинице, например, нельзя, во-первых, приводить женщин, а во-вторых...

– Я не желаю знать никаких ваших «во-вторых». Сообщаю к вашему сведению, что вы на днях едете в Сербию.

– Так скоро! А я думал здесь пробыть...

– Не думайте! Роскошь думать за вас предоставьте другим. Ваше дело – повиноваться. Даю вам поручение, которое надо исполнить сегодня же. Запишите фамилию: Корещенко. Узнайте о нем все подробности, вкусы, привычки, образ жизни. Он занят работой над какими-то новыми истребителями. Узнайте, на каком заводе, как и что? В зависимости от ваших сведений будем действовать. Я вызову к себе инженера Неймана, велю ему проникнуть, буде это удастся, в технический секрет господина Корещенко. На вас же нельзя положиться, хотя вы и бывший моряк.

– Господин аббат прав. Я по технической части слабоват. Перезабыл, да и никогда не был силен. Вот по части баб – здесь я профессор...

Манега поморщился.

– Так и несет от вас каким-то грязным кабачком внешне приличным.

– Господин аббат, требуйте с каждого человека не больше того, что он может дать. Я воспитывался не в аристократическом колледже...

– При чем здесь воспитание? Нужен такт, а его у вас нет. А будь он – вы пошли бы значительно дальше с вашей энергией и с вашим нахальством.

– Господин аббат упорно не желает признавать мои таланты.

– У вас нет наблюдательности, нет хорошо воспитанной памяти. И то и другое необходимо в вашем ремесле. Вот пока мне принесут кофе, я вам сделаю маленький экзамен. Сколько времени вы живете в ваших меблированных комнатах?

– Два с половиной месяца.

– Время большое. Успели вы присмотреться к соседним жильцам и выделить среди общей массы тех, кто действительно чем-нибудь выделяется?

– Господин аббат, я не пропустил ни одной смазливенькой мордочки...

Манега, скрестив руки, остановился перед Генрихом Альбертовичем.

– Послушайте, ваше хамство не имеет границ! Или вы перемените свой тон, или я вышвырну вас! Велю позвать моего албанца Керима, и он спустит вас с лестницы... Но тогда уже будет поздно. Тогда вы уже навсегда влипнете в трущобную грязь, откуда вас вытянула графиня Пэкано...

Дегеррарди струсил. Сквозь свой естественный «грим» побледнел.

– Господин аббат, я очень извиняюсь. Я действительно большая скотина, болван и дурак! Вы извольте спрашивать меня, я буду отвечать серьезно, без всякого балагана. Во-первых, там у нас живет король Кипрский.

– Что такое? – гневно сдвинул брови Манега. – Вы опять начинаете паясничать?

– Честное слово, господин аббат, клянусь вам всем для меня святым, – говорю правду! Собственными глазами видел в домовоей книге: «Галеацо ди Лузиньян, король Иерусалимский и Кипрский».

– Вы его видели?

– Как вас, господин аббат. Этаким высокий, величавый старик, только ножки у него пошаливают. Подагра, что ли. Видимо, пожил на своем веку и немало хороших вин...

– Это возможно, – согласился Манега, – насколько я припоминаю историю Кипра, сначала там была византийская династия Комненов, а с 1191 года по 1489 – Лузиньянская. Затем сместили ее турки. Но по международному соглашению Лузиньяны, утратив свое право на трон, именовались, однако же, королями и титул переходил к старшему в роде.

– Господин аббат, у вас феноменальная память! – с искренним изумлением вырвалось у Дегеррарди. Так помнить все цифры, даты – ведь это же... это же черт знает что!..

– Этот Галеацо Лузиньян – последний в роде, – продолжал Манега, обращаясь больше к себе, чем к собеседнику, – я слышал о нем и читал. В Париже во время третьей империи он блистал в придворных кругах, считаясь одним из красивейших мужчин в Европе. А теперь – злая ирония судьбы – нищета, меблированные комнаты. Это ужасно! И тем ужасней, что это настоящее «королевское величество». Дегеррарди, вы мне покажете Лузиньяна, короля Иерусалимского и Кипрского. Почему знать, он может пригодиться. Если... если не поспешит уйти на тот свет. Как на вид, еще крепок?

– На вид, – ничего, только ножки пошаливают, как я уже имел честь докладывать господину аббату.

Помолчав, Манега спросил:

– А еще?

– Еще, по-моему, любопытный тип, – некий Загорский. У меня чуть не вышло с ним столкновение из-за одной хорошенькой... извиняюсь, господин аббат, извиняюсь, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Этот самый Загорский служил в гвардии, в одном из самых

дорогих полков, но случилась одна темная история, – вы, вероятно, помните нашумевший процесс о наследственных миллионах князя Обнинского?

– Помню. Сравнительно еще недавно! Этим процессом сильно интересовались при дворе его святейшества. И фамилию припоминаю: этот Загорский был одним из главных претендентов. Открылась подложность завещания. Загорского судили, и теперь он – лишенный прав. Что он делает?

– Служит, господин аббат. Получает рублей триста в месяц в каком-то частном банке, где, благодаря знанию иностранных языков, ведет заграничную корреспонденцию.

– Если не ошибаюсь, он даже окончил академию генерального штаба? Мне говорил о нем кардинал Сфорца. На этого Загорского надо обратить особенное внимание. Его охотно приняли бы в австрийскую армию. Несомненно, этот человек преисполнен горечи и злобы к тем кругам, в которых он сверкал. Они его вышвырнули, отвернулись, и, по-моему, это весьма благоприятная почва для «перекидного мостика». Как русский офицер и к тому же еще образованный, даровитый, много знающий, он был бы весьма и весьма полезен своими сведениями нашему генеральному штабу. Об этом надо подумать. Я не задерживаю вас, Дегеррарди... Ступайте и займитесь Корещенкой. Кстати, отыщите внизу Керима, а если его нет внизу, он в своей комнате. Комнаты для прислуги, – шестой этаж в самый конец. Пусть явится ко мне.

– Будет исполнено, господин аббат.

Дегеррарди мялся на месте.

– Вы не уходите?..

– Господин аббат, нельзя ли маленькое вспомоществование, я поиздержался.

– Сколько?

– Рублей пятьдесят... можно?

– Вы широко живете. Вы и так забрали вперед жалованье. Обратитесь к портье Адольфу, он вам выдаст пятьдесят рублей. Но чтобы впредь этих «авансов» не было!

– Последний раз, господин аббат, честное слово...

6. На берегах «Голубого Дуная»

Старый, колесный с выцветшей, облупившейся окраской пароход бегал через Дунай от сербского Белграда к венгерскому Землину. Землин – это по сербохорватски, у венгерцев и швабов он – Земун.

Желтый и мутный – (венцы зовут его голубым почему-то) – быстротечный Дунай раскинулся здесь широко, очень широко, словно желая как только можно дальше разобщить обе такие враждебные друг другу страны. Громадную «лоскутную», разноязычную монархию Габсбургов – с маленькой, сильной своим единством славянской Сербией.

Ах, эта Сербия! Такая крохотная, такая гордая, колючая, она всегда ошетиливается, как только делали хоть малейшую попытку дотянуться к ней жадные, клейкие щупальцы гигантского мозаичного австро-венгерского спрута.

Покинувши низкий плоский берег тихого, чистенького Землина, пароход пересекал Дунай по направлению к Белграду. Вот она раскинулась на крутом холме, сербская престольница! Сверкают под майским солнцем золоченые шлемы церквей. Хаотическим амфитеатром спускаются к берегу дома и лачуги. Длинное здание таможни. Бритый, плечистый пассажир в легоньком пальто «клош» и с желтым чемоданом в руке узнал таможню и темный закопченный вокзал. Он не был здесь около трех лет. С начала первой балканской войны не был.

Переменились времена. В то время «безработный», голодным, щелкающим зубами волком скитался он по грязным «кафанам», и две-три кэбабчаты (рубленое мясо в форме тоненьких сосисок, прожаренное на углях), стоившие пятнадцать сантимов, были для него лукулловским пиршеством. А теперь, – теперь он одет с иголочки, сыт и пьян, бумажник его набит банковыми билетами, а кошелек – новеньким золотом с профилем императора Франца-Иосифа. Есть и двадцатифранковики с галльским «петухом» и даже русские монеты в пять и десять рублей.

Он был самым «элегантным» пассажиром на палубе. Кругом – все простой люд: рабочие, женщины, ездившие в Землин кто покупать, кто продавать, матросы с выжженными солнцем грубыми обветренными лицами. Слышалась сербская речь вперемешку с венгерской и немецкой. Певучий, тоже сербский говор крепких светловолосых хорватов...

Ближе и ближе берег. Направо – металлическим белым, висящим в воздухе кружевом перекинулся над Саввою железнодорожный мост. Влево – вплотную к самому крутому берегу, мощными липами своими в цвету, – доносится ветром их сладкий, медвяный аромат, – подошел городской сад Калэмагден. Еще левее – массивными стенами, башнями, казематами и бастионами раскинулась древняя крепость. Такая древняя, что помнила дунайские легионы римлян. А потом ею много веков владели сначала венгерцы, затем и турки, и всего лишь сорок с чем-то лет развеивается над нею трехцветный сербский флаг.

Бритый господин в сером клоше и такой же серой каскетке первым сошел на берег, встретив на пути своем полицейского чиновника в синем мундире со жгутами на плечах и в синей фуражке с малиновым околышем. Ему надо предъявить паспорт. Чиновник медленно прочел вслух:

- Дворянин Виктор Иванович Кончаловский.
- С Петрограда путешествуете (едете)? – спросил малиновый околыш, приветливо улыбаясь.
- Из Петрограда за Београд, – ответил по-сербски господин, по паспорту Кончаловский.
- Какое ваше занятие (занятие)?
- Руски дописник (журналист).

Этим кончились все формальности вступления русского журналиста на сербскую территорию. Сев тут же на пристани в извозчий экипаж, Виктор Иванович Кончаловский прика-

зал везти себя в гостиницу «Москва» – лучший в городе «хотел», большое четырехэтажное здание в стиле модерн, красующееся в самом центре Белграда на улице князя Михаила.

В светлом, ярко залитом солнцем вестибюле сидел за своей конторкою, углубившись в чтение газеты, в новеньком ливрейном сюртуке и в кепи, обшитом галуном, портье, главный портье Симо Радонич. Такой солидный портье – по-сербски «портир», – хоть сейчас в любой первоклассный европейский отель. Все на нем с иголочки, блестят пуговицы, галуны, сверкает ослепительно воротничок. Отливающий синевою подбородок чисто-начисто выбрит. Черные, густые, короткие баки сообщают благообразному лицу что-то бюрократическое и в то же время военное. По крайней мере, именно такие баки с пробритым подбородком носили австрийские офицеры в восьмидесятых годах и раньше, «гримируясь» под своего императора.

Симо Радонич вот уже четвертый год занимал должность главного портье в отеле «Москва». Приехал он из Австрии с паспортом загребского хорвата. Приехал и благодаря знанию иностранных языков и протекции тогдашнего австро-венгерского посланника Форгача устроился в «Москве» записывать приезжающих в книгу постояльцев заведовать корреспонденцией, объясняться с публикою и визитерами, словом, делать все, что полагается делать хорошему портье хорошего «дома».

Кроме Симо Радонича, важно углубленного в газету, никого не было в вестибюле, если не считать дремавшего в углу мальчика шассера в куцей с тремя рядами круглых маленьких пуговиц курточке. Зазвенела стеклянная дверь. Шассер бросился отнимать у Кончаловского желтый чемодан. Портье не спеша поднял свои темные, острые глаза.

– Есть свободная комната? Да только получше.

Портье бросил косой взгляд на черную доску, испещренную густыми рядами фамилий. Кое-где были только просветы.

– Сорок девятый свободен, третий этаж, шесть динаров.

– Великолепно, шесть динаров – плевое дело! А вас, портье, зовут Радонич?

– Да, это я, – согласился портье. – А как вас, господин, записать?

– Моя фамилия Кончаловский.

Радонич и приезжий смотрели друг на друга. В глазах и в лице портье отразилась мелькнувшей тенью какая-то непередаваемая игра, – и снова это был бесстрастный, отлично вышколенный слуга хорошего «дома».

– Собогаволите, господин, подняться. К вашим услугам лифт, а через минуту я сам поднимусь взглянуть, удобно ли вам? И если нет, я переведу вас в тридцать четвертый, этажом всего-навсего ниже и одним динаром только дороже.

– В обратной пропорции, – усмехнулся Кончаловский, – валяйте, валяйте! Ну, малый, живо тащи меня наверх. Одна здесь нога, другая там!..

Номер оказался просторной квадратной комнатой с мебелью в новом стиле, сплошь в светлых тонах. Балкон выходил на Савву и железнодорожный мост. Там, за рекою, убегал беспредельный луговой равниною венгерский берег. Глаз тонул Бог знает в каких далях! Кончаловский решил, что за комнату, да еще и с таким живописным видом в придачу – шесть франков дешевле грибов.

Не снимая пальто, он закурил папиросу. Мальчик шассер поставил на раздвижные «козлы» чемодан и ушел. Вслед за ним горничная, молодая чешка, вся в темном, в белом чепце, явилась со свежими полотенцами, тяжелым кувшином с водой и тоже ушла. Кончаловский, подмигнув ей вслед, остался один. Весь бритый, даже с выбритой головой, он, однако, не походил ни на актера, ни на дипломата – плечистый, оумяный, с нагло-вызывающим взглядом больших карих глаз.

Стук. Не дожидаясь ответа, вошел портье. Он плотно закрыл за собой дверь и первый протянул Кончаловскому руку:

– Я очень рад вас видеть, господин Дегеррарди, – молвил он осторожным шепотом.

– Взаимно, господин полковник. Вот я приехал и весь в вашем распоряжении!..

– Да, я уже придумал для вас кое-что. Но как вы изменились, как вы изменились! Положительно с трудом узнал вас. Куда девались эти пышные черные волосы, эти буйные, чересчур буйные усы? Но это хорошо, что вы оголились. Во-первых, если даже меня взяло сомнение, то уж наверное вас никто не узнает из тех, кто имел бы основание помнить. Тем более, признаться, вы не оставили по себе здесь особенно приятных воспоминаний... А во-вторых, так гораздо приличней, корректней, у вас была слишком яркая, беспокойная «маска». Она больше к лицу забубённому штурману, скандалисту портовых кабачков.

– Скандалисту, а не журналисту, – подхватил Дегеррарди, именуя себя Кончаловским. – Хотя, надо вам сказать, господин полковник, я с большим сожалением сбрил свои усы – мою красу и гордость.

– Да, журналист должен быть человеком интернациональной складки. Кстати, какой русской газеты корреспондентом решили вы назваться?

– От московского «Русского слова».

– Недурно, пусть будет так. И тем удобней, что в данное время представителя «Русского слова» нет не только в Белграде, но и во всей Сербии. Однако мы продолжим нашу беседу не здесь. Вечерами я хожу гулять после обеда на Калэмагден. Там есть одинокая скамеечка у самого обрыва. Оттуда чудесная панорама на Дунай и Земун. Ровно в девять вечера я буду вас ждать у этой скамеечки. До скорого свидания.

– Чудесно, а до вечера я постараюсь убить время, приволокусь на улице за какой-нибудь этакой черноокой сербкой.

– Господин Дегеррарди, вы приехали сюда не убивать время, а извлекать из него возможно большую пользу для дела! – наставительно заметил портье. – Я вам рекомендую привести себя в порядок и, облачившись в визитку, сходить в австро-венгерскую миссию – это на Крунской улице, и представиться посланнику барону Гизлю. Я скажу по телефону ему. Он вас немедленно примет.

– А что я должен ему сказать?

– Ничего! Будет говорить он, а вы будете слушать внимательно. Наверное, поинтересуется вашими петроградскими впечатлениями. Расскажите барону про аббата Манегу. Итак, до вечера...

– До вечера, господин полковник.

Портье ушел, а Дегеррарди-Кончаловский, насвистывая вальс из «Веселой вдовы», занялся своим туалетом.

Спустя минут сорок в визитке и мягкой фетровой шляпе он спустился вниз. Портье, окинув его критическим взором, одобрительно молча кивнул головой.

7. Паутинка плетется

И вот он опять в Белграде!

Очутившись на улице, Кончаловский еще раз сопоставил свое пребывание в сербской столице – тогда, во время войны – с теперешним. Была суровая, дьявольски холодная осень. Лил неделями дождь. Белград заволакивался влажным, как пар, туманом. Зуб на зуб не попадая, он, Генрих Альбертович Дегеррарди, шеголял без пальто в собачьем лаем подбитой легонькой штурманской куртке. Было трудно и дорого жить. Во всем, решительно во всем чувствовалось неимоверное напряжение маленькой страны, бросившей самое существование свое на карту во имя освободительного, кровавого поединка с турками, что из века в век угнетали косовских и македонских сербов.

А теперь ослепительно сияет горячее майское солнце. Белград и вся страна отдыхают после трех победных героических войн. Отдыхают в мирной, созидательной работе.

Вот шагает в ногу, мощно отбивая такт, батальон пехоты в походном снаряжении, совершивший учебную прогулку в Топчидер. В серых «капах» (мягких головных уборах) и таких же серых мундирах, с винтовками, молодые, рослые, как на подбор, четко шагают вардарцы. Это сербы, призванные под знамена короля Петра из недавно освобожденных македонских округов. Одушевлением горят их лица... Звонко несется дружная хоровая песня о том, как они вызволят своих босно-герцеговинских братьев из-под швабской неволи. Поют солдаты, поют офицеры, поет великан тамбурмажор, выступающий с булавой впереди всей колонны.

– А ведь черти, ей-Богу, черти! – похвалил Кончаловский вардарцев.

Рядом с «Москвою» – табачный магазин. Зашел, купил гаванскую сигару, в целый динар. Закурил, любезничая с хорошенькой, смуглой продавщицей, вгоняя ее в краску забористыми, отдающими набережной экзотического порта комплиментами.

К этому барону Гизлю он успеет. Крунская улица в двух шагах. Надо пошататься, выкурить сигару... Вот витрина придворного фотографа. Глядит через стекло король Петр, бритый, седоусый, в круглой барашковой шапке с султаном. Его сыновья, престолонаследник Александр и королевич Георгий. Величавый старец с окладистой бородою премьер-министр Пашич. Вот и сам Пашич, – легок на помине; возвращается из министерства в тяжелом громоздком экипаже. Горожане любят своего дядю Николу и низко ему кланяются. В ответ Пашич приподнимает свой старосветский цилиндр. Что-то глубоко демократическое, патриархальное в этом обмене приветствий между народом и главой правительства. Чувствуется нерушимая взаимно доверчивая связь. Да как и не быть ей?... Он, Пашич, такой же сын простого селяка-земледельца, как и все сербы. Сам хлебнул горя не мало. На ногах сохранились еще следы кандалов, в которые он, брошенный при Милане в клоповник-тюрьму, был закован. А все потому, что был противником австрофильской политики своего короля, видя будущее Сербии только в тесном единении с Великой Россией...

Вот и к девяти часам время подходит. Дегеррарди успел побывать у барона Гизля, успел вздремнуть часок-другой, пообедать на открытом воздухе, в пивнице «Руски царь» и пешком, дымя сигарой, уже сумерками держал свой путь на Калэмегдан.

В душистых аллеях слышен в густом полумраке говор гуляющей публики. Двигутся группами, парами. Сидят на скамейках. Юноши в синих мундирах и красных штанах спешат на трамвай, чтоб поспеть к себе в Топчидер – в военную школу.

Ближе к берегу – веет прохладой. Вокруг деревянного киоска сидят за столиками офицеры, штатские, дамы, пьют кофе, прохлаждаются мороженым. Кончаловский, миновав киоск, направляется к выдвинувшемуся мыску. Здесь никого нет, пустынно. Силуэт одинокой фигуры на скамейке. Пальто, черный котелок. Это портье Симо Радонич, он же полковник австрийского генерального штаба Август Кнор.

Любуется, а может быть, и не любуется волшебной панорамой. Внизу разметалась широкая гладь Дуная. Свистят, мелькая цветными огоньками, пароходы. Насунился дремлющий островок с блокаузом венгерских «финансов» (пограничной стражи). А на том берегу – весь в трепетных огнях – Землин. В туманной дымке тает бегущая равниной до самых Карпат Австро-Венгрия, для «блага» которой полковник Август Кнор уже четыре года не снимает своей лакейской одежды.

– Это вы?

– Я! Жду вас около пяти минут. Садитесь! Лучший способ, чтобы вас не подслушали, говорить на открытом месте. Были вы у барона Гизля?

– Был, минут двадцать пять продержал. А ведь роскошно живет, каналья!

– Господин Дегеррарди, вы продолжаете оставаться все тем же *mauvais sujet*, каким я знал вас. Пора оставить и прежний тон, и прежние манеры, иначе вы навредите и самому себе, и делу, которому служите. Разве можно так говорить о дипломатическом представителе, посланнике великой державы?

– Но ведь я только вам сказал, я же не повторю этого при чужих, – оправдывался Дегеррарди, как школьник.

– Все равно. Даже наедине с самим собой надо корректировать каждый свой шаг. Это дисциплина, школа...

– Ну хорошо, хорошо, не буду больше!

Невольно умолкли под впечатлением покоя, тишины и необъятного величественного простора. Гудела паровозная сирена, доносился откуда-то собачий лай, по мосту гроыхал мчащийся поезд, мелькая освещенными окнами.

А дали, глубокие, задунайские, бегущие к горизонту, манили тонуций в их глубине взгляд...

Полковник снял шляпу, коснулся ладонью напомаженного пробора, закурил папиросу и молвил:

– Завтра вы возьмете вечерний поезд. Цель вашей поездки – курорт Врнячке-Банье, где отдыхает в настоящее время престолонаследник Александр. До Крушеваца без пересадки, а оттуда идет узкоколейная ветвь. Потом три километра на лошадях, и вы – на курорте. Познакомьтесь с личным секретарем принца господином Еленичем и попросите, чтоб он вас представил его высочеству, как сотрудника одной из влиятельнейших русских газет. Королевич скромн, избегает интервьюеров, но я думаю, что для вас он, пожалуй, сделает исключение. Он воспитывался в Петербурге, в Пажеском корпусе, и все связанное с Россией ему близко и дорого. Эта русофильская политика Карагеоргиевичей и навлекла на них справедливый гнев Австрии. Увы, это не Обреновичи! С теми нам было куда лучше столкнуться.

– Он говорит по-русски?

– Нелепый вопрос! Ведь не по-немецки же преподают в Пажеском корпусе!

– Да, но мог забыть.

– Слушайте, не перебивая: потому-то я выбрал вас, чтоб вы могли говорить с ним по-русски. Вы скажете, что приехали со специальной миссией интервьюировать его. Удастся или не удастся интервью – это неважно. Главное вот: прикинувшись горячо симпатизирующим южным славянам, начните разговор на тему, что через две-три недели, мол, предстоят генеральные маневры в Боснии под верховным руководством эрцгерцога Франца-Фердинанда. Вы же беретесь организовать покушение на эрцгерцога, зная его ненависть к сербам, и только спрашиваете благословения королевича на этот «акт». Поняли?

– Понял-то я понял отлично, а только он меня выгонит вон вместе с моим предложением.

– Этим, вероятно, и кончится. Что ж, пусть он вас выгонит.

– Вам хорошо говорить, а мое самолюбие?

– Самолюбие свое спрячете в карман, господин Дегеррарди. Подумаешь! Человек, получающий такой гонорар, как вы, должен обладать резиновым носом, способным выдерживать какие угодно щелчки! Мне в данном случае важно скомпрометировать наследника сербского престола... – Август Кнор осмотрелся, понизив голос до чуть уловимого шепота. – Судьба эрцгерцога бесповоротно решена уже в Берлине и Будапеште. И вот когда «это» случится, австрийские газеты поднимут громовой, негодующий шум, обвиняя во всем Сербию и Карагеоргиевичей. И тогда-то мы напечатаем повсюду статьи, что русский, именно русский корреспондент предлагал королевичу организовать покушение и это было встречено благосклонно...

– Позвольте! Ведь будут опровержения?

– Будут! Но мы настолько подготовим общественное мнение в Австрии и в Германии, что опровержениям никто не поверит, а если и найдутся скептики, они из патриотизма сделают вид, что не верят. Мне нужен самый факт посещения вами курорта, где имеет в данный момент пребывание Александр. Теперь поняли?

– Теперь понял! Это, черт побери, занятная штука! На всю Европу скандал. Честное слово, такой скандалище!

И субъект, который, по мнению Кнора, должен обладать резиновым носом, усмехнулся, потирая большие, сильные, красные руки...

– Вы неисправимый буффон, Дегеррарди! На все смотрите с точки зрения буффонады. Политика вещь серьезная, и с нею нельзя особенно фамильярничать. Предупреждаю, возьмите себя в руки и там на курорте постарайтесь держаться возможно приличнее и корректнее, а то, чего доброго, вместо того, чтобы скомпрометировать королевича, вы скомпрометируете сами себя с первых же слов. И он говорить не захочет с вами.

– Не бойтесь, господин полковник, лицом в грязь не ударю! В случае необходимости я умею держать фасон. Как-никак я бывший министр полиции Албанского княжества.

– Будем надеяться! А теперь, бывший министр, – проваливайте, я хочу побыть один...

Дегеррарди ушел. Кнор, закулив новую папиросу, глядел туда через Дунай, где горел синими, красными и желтыми огоньками Землин. Австрийский полковник размышлял о будущем, самом недалеком будущем... Пройдет месяц-другой, и как-то развернутся события? Во всяком случае, уже наверно он, Август Кнор, не будет наслаждаться теплым летним вечером, сидя на этой скамеечке...

«Мы накануне великих событий», – подумал австриец, именно этими словами подумал.

Было тихо, совсем тихо. Вставал над рекою молочный туман.

8. Австрийский посланник

Август Кнор весьма часто бывал у своего друга барона Гизля в австро-венгерском посольстве. Для этих визитов, опасливых и с осторожной оглядкой, – не заметил бы кто, – он предпочитал сумерки. Незаменимое время. Одетый в штатское, проскальзывал он вечерами на Крунскую улицу и, убедившись, что никто не следит за ним, спешил юркнуть в подъезд.

Сегодня, проделав то же самое, Август Крон очутился с глазу на глаз с бароном Гизлем в его большом и мрачном, таком внушительном кабинете. На окнах плотно спущены глухие шторы, и с улицы не заподозрит никто, в голову не придет никому, что кабинет освещен.

На стенах висели арматуры восточного оружия – шлемы, ятаганы, кривые сабли, мушкетеры в насечках с длинными стволами. Гизль начинал свою дипломатическую карьеру в Константинополе, откуда и вывез всю эту экзотику, покрытую ржавчиной, пылью веков, и на этом основании еще более дорогую, понятную любительскому глазу.

Сам Гизль был человеком в высшей степени мирный, глубоко штатский. Он никогда не охотился и вряд ли приходилось ему стрелять, в цель хотя бы. Но кто знал близко этого пухлого, румяного дипломата с мягкой, вкрадчивой жестикуляцией и какой-то обволакивающей собеседника манерой говорить, смотреть, улыбаться, тот не сомневался, что барон Гизль, при своем далеко невоинственном облике, являет собой весьма и весьма опасного противника. Когда его темные иезуитские глаза начинали бегать, – а бегали они как-то особенно, словно рысь, мечущаяся в клетке, – его собеседнику, даже обладателю крепких нервов, становилось жутко.

Барон Гизль, подобно предшественнику своему по Белграду Форгачу, типичный австрийский дипломат меттерниховской школы, давшей целый ряд поколений чиновников министерства иностранных дел. Словно сфабрикованные по одному и тому же раз и навсегда утвержденному образцу, лишённые всяких принципов, неряшливые морально, эти господа не брезговали ничем, только б все пускаемые в ход средства способствовали одному – укреплению габсбургской короны, шатающейся на голом черепе Франца-Иосифа.

Провокация, шпионаж, похищение важных бумаг, фабрикация фальшивых документов и, когда надо, убийство, чужими, конечно, руками, – все это пускалось в ход, только б результаты получились благоприятные, только б ослабить Россию, туже затянуть петлю над подъярменными славянами да проглотить и уничтожить ненавистную Сербию.

На диване с высокой спинкою, в полумраке, дымя, сигарами, полулежали барон Гизль и полковник Август Кнор.

– Ну что, мой дорогой, не надоела ли еще вам ваша ливрея? – коснулся барон мягкой ладонью ноги своего собеседника.

И хотя они были друзья-приятели, сообщники самые тесные, и прикосновение это было, вне всяких сомнений, благожелательное, однако же Кнор ощутил какую-то странную неловкость. Словно рука Гизля оставила свой след – влипчивый, неприятный, физически неприятный...

– Эта ливрея, – мечтательно произнес Кнор, – сколько ценных сведений получил благодаря ее милости ваш покорный слуга! Сколько телеграмм и писем прошло сквозь мои руки, сколько интересных вещей я подслушал, прикинув ухом к замочной скважине номера, где два или три болтуна чувствовали себя в полной недосыгаемости. Ах, эта ливрея... Потом я сохранию ее как воспоминание, как реликвию... Четыре года вечно притворяться, носить маску и в конце концов играть лакейскую роль, – это чего-нибудь да стоит! А риск? Тебя ежеминутно могут выследить, схватить, бросить в клоповник. Это не то, что вы, бронированный своей экстерриториальностью. Вам любая проказа сойдет с рук, потому, что над вашим домом развевается имперский флаг.

– Скоро этот флаг будет спущен, – загадочно молвил барон.

– И флаг будет спущен, и вы уедете, а я останусь. Я последним уйду со своего поста.
– Итак, боснийские маневры будут, – продолжал Кнор, – могилой для наследного эрцгерцога... Нельзя так бравировать, нельзя так попирать священные традиции Габсбургского дома.
– Слишком вооружил он против себя венские придворные круги. Впрочем, и не только венские.

– Да, его терпеть не могут, – подхватил Кнор.

– Еще бы! Одна мысль, что какая-то ничтожная чешка, подумаешь, Хотек!.. взойдет на престол Габсбургов, на престол священной Римской империи, – одна эта мысль кидает всех и в жар, и в холод. Надо сразу покончить с этим вопросом, теперь или никогда.

– Конечно, теперь. Налажен весь механизм, уже завербованы два юных серба – Гаврилович и Принцип. К сожалению, наши австрийские, не из королевства. Им внушили, что они должны пожертвовать собой во имя великосербской идеи. Но вы представляете себе, милый барон, как мы скомпрометируем Сербию? Все шестьдесят пять миллионов австро-венгерского народа поднимут вопль, потребуют от армии, чтобы она стерла с лица земли эту дерзкую революционную Сербию. Какие перспективы!

– Какие перспективы! – повторил Гизль. – Россия не даст на растерзание Сербию, – война с Россией! Наша славная конница через шесть недель с момента перехода границы будет поить своих лошадей в Днепре, затем Киев и двинется дальше. А в это время союзники наши, германцы, займут Петербург, Москву и отбросят к Уралу, а может быть, и за самый Урал полчища этих варваров. Скажите, разве это не будет величественно?

– Ого, это уже чистейший романтизм! – воскликнул полковник.

– Ничуть, мой друг, это простой логический вывод. Русская армия дезорганизована, не имеет мощной артиллерии и, – это самое главное, – по нашим агентурным сведениям, – настроена революционно... Однако не будем гадать о будущем, хотя бы самом недалеком, а вернемся к настоящему. Вы послали этого наглеца к Александру?

– Вчера уехал. Маленький королевич может и не принять его, но для нас важен факт посещения сербского престолонаследника русским, именно – русским корреспондентом. На этой канве наша печать сумеет вышить какие угодно великолепные узоры. В Будапеште и Вене у меня будет мобилизовано несколько бойких перьев, я дам сигнал, и они, как хищные птицы, накинута как на Сербию, так и на самый королевский дом.

– Последнее важнее всего, – скрепил Гизль. – Эти Карагеоргиевичи надоели нам со своей русофильской политикой! Довольно, пора их смести! Надо основательно забрызгать их той кровью, которая будет пролита... Чтоб никогда не отмывались. Намеки, инсинуации... Можно будет вспомнить судьбу Обреновичей, Александра и Драги. Словом... Что вы хотите сказать, мой дорогой полковник?

– Я хочу спросить, барон, как нам в дальнейшем использовать эту каналю Дегеррарди.

– Он когда вернется?

– Завтра.

– Немедленно же надо будет командировать его назад, в Россию. Необходимо, чтобы он устроил инспекторский объезд наших колонистов в Люблинской и Волынской губерниях. Вообще мы теперь особенно нуждаемся в опытных и ловких агентах. Нет ли у вас еще когонибудь на, примете?

– Предлагает свои услуги Милорад Райцевич.

Гизль поморщился.

– Прохвост!

– А чего же вы хотите, господин посланник? Агентов с кристальными душами не существует в природе. И на кой вам черт агенты с кристальными душами?

– Вы правы, но репутация у этого проходимца кроата очень уж скандальная, каждый серб считает его темной тварью.

– Но в России, например, он будет очень полезен. Русские легковверны. Он прикинется сербом и станет играть на славянских симпатиях. Но вот что, барон, у него есть брат Милослав Райцевич, две капли воды королевич Георгий. И вот именно это самое разительное сходство дало моей фантазии толчок в смысле некоторых весьма остроумных комбинаций.

– Разве такое сходство? – оживился Гизль, опять коснувшись мягкой ладонью колена своего собеседника и опять вызвав этим у Кнора физически неприятное ощущение.

– Вылитый двойник! Близнецы, да и только. Но вот вам наглядная иллюстрация. Это было года четыре назад, как только я приехал в Белград. Георгий, тогда еще престолонаследник, проходил курс унтер-офицерской школы. А в военном училище в Топчидере был на старшем курсе этот же самый Милослав Райцевич. Это – моих рук дело, я выписал его из Загреба, он прикинулся беглецом, приговоренным к тюрьме за свои великосербские идеи, был принят с распростертыми объятиями и зачислен в военное училище. Через него я все время был в курсе образа мыслей как учеников, так и преподавателей. После аннексии Боснии и Герцеговины настроение военной партии в Сербии особенно интересовало меня. Этот самый Райцевич был лентяй и лодырь. И вот он выдумал прокатиться в Обреновац. Приезжает. Городишко всполошился. Еще бы, наследник престола инкогнито пожаловал. Все власти встретили его с почетом, закатали ему парадный обед. Он принял это как должное и тарелками уплетал дунайскую икру.

– Это прелестно, это прелестно! – тоненьким смешком заливался барон Гизль. – Совсем как в оперетке. Чем же кончилась эта буффонада?

– Кончилась полнейшим фиаско. Я не могу в точности сказать, как это вышло, но уже к концу обеда подлог обнаружился, и свергнутый с пьедестала двойник королевича Георгия был выгнан с позором. Ему таки порядком наколотили шею.

– Этот субъект пригодится нам.

– Я же вам говорю, тем более, что с годами сходство нисколько не уменьшилось...

Однако, ого, уже одиннадцатый час, мне пора.

– Вас никто не видел?

– Никто.

– Смотрите же. Напоследок рекомендую особенную осторожность.

– Да, напоследок, потому что дни наши здесь, в этом грязном сербском захолустье, в особенности ваши, барон, – сочтены... До свидания...

– До свидания, полковник.

Кнор ушел так же крадучись, как и пришел. Пуста и тиха была Крунская улица.

9. У сербского престолонаследника

Этот живописный уголок называли «Сербской Тосканой». Город местоположением своим в котловине напоминал Флоренцию. А кругом пологими скатами зеленых лесистых волн подступали невысокие, но и не малые горы. Солнце играло на них мягкими переливами, то и дело меняя очертания и цвет. Густыми толпами дубов и буков покрыты эти горы от самого чела до подножия.

Шоссейные и проселочные дороги шли меж тучных лугов и полей, и хотя май лишь только начинался, уже полным, тяжелеющим колосом наливалась высокая, пышная сербская пшеница.

На курорте с его двумя-тремя улицами, скромными «хотелами» и пансионатами в лучшей части парка, на двухэтажной вилле, поднимавшейся на пригорке, – называлась она вилла «Агнеса», – жил сербский престолонаследник, Александр. Жил тихо, скромно, и только рослые, щеголеватые солдаты королевской гвардии в зеленых с белыми шнурами венгерках и медвежьих шапках, посменно дежурившие у железной калитки, напоминали, что виллу «Агнесу» занимает будущий монарх Сербии.

Семь часов, а солнце уже высоко поднялось и брызнуло снопом красно-золотистых лучей в спальню королевича, и зажглась радугою бриллиантовая корона плоского золотого портсигара, лежавшего на маленьком ночном столике. Александр без пенсне казался еще моложе своих двадцати четырех лет.

Он быстро вскочил упругим движением человека, не любящего долго нежиться в постели, и на цыпочках, ступая босыми ногами по навощенным доскам пола, распахнул окно. Ярче хлынул поток лучей утреннего солнца, наполняя комнату сладким, густым ароматом цветущих лип и акаций. Благоухают каштаны в своем белом подвенечном убранстве, а там, далеко за парком, среди простора и воли, – синеют горы. Свои, такие родные и близкие горы любимой Сербии...

Бритый, степенный Божо в серой куртке вошел с громадным тяжелым кувшином, как лед, холодной ключевой воды. Через десять минут готов был весь туалет, и Александр, с влажными черными волосами, в светло-кофейном пехотном мундире с полковничьими погонами, с медалью Милоша Обидича, которую повесил ему на грудь отец за Кумановскую победу, занялся утренней почтой. Газеты – сербские, русские, французские, казенные пакеты. В первую голову – простые письма бедных людей на серой и грубой бумаге в таких же конвертах, заадресованные рукою, привычной больше к тяжелой работе, чем к писанию. Это – просьбы о денежной и всякой иной помощи тем, кого недавняя балканская война сделала несчастными, осиротевшими.

На каждом письме Александр отмечал синим карандашом: «Выдать столько-то, назначить ежегодную пенсию, определить детей на мой счет в школу»... Все эти письма он заклеил в один большой конверт, надписав: «Еленичу для исполнения».

К восьми часам утра в парке уже началась жизнь. Офицеры и солдаты с бледно-восковыми лицами, изнуренные длительными тяжелыми ранами, прогуливались медленно по усыпаным гравием дорожкам, выпив целебной воды, возвращающей здоровье и силы.

У павильона собралось несколько деревенских сельяков, морщинистых, крепких, в овчинных безрукавках шерстью наружу и в высоких бараньих шапках. Они сами явились и сыновей привели посмотреть на «своего королевича» Александра, отвоевавшего им Старую Сербию и Македонию.

Вот он появился, королевич, вместе со своим адъютантом, высоким и плотным усатым майором.

Селяки, подталкивая вперед сыновей, сняли свои теплые шапки. Александр обошел их, каждого обласкал приветливым словом. И вышло это у него естественно, просто, без всякого битья на популярность. Александр не «сниходил» к ним, как, например, Фердинанд Кобургский, что, презирая своих болгар, как грязных скотов, белой выхоленной рукой в дорогих перстнях брал на базарной площади «тютюн» из мужицкой табачницы. Он совал мужику золотой, а потом брезгливо обтирал свою руку одеколоном...

Совсем другое – Александр. Он чувствовал живую, тесную связь с этими селяками из под Крушеваца, Сталача, Ужицы. Он – правнук славного Карагеоргия, вышедшего из их же среды. Счастье этих селяков – было его собственным счастьем.

Из аллеи показался секретарь Еленич, в котелке и сером пальто.

– Ваше высочество, приехал корреспондент одной большой русской газеты.

– Здесь я отдыхаю... Но раз это русский корреспондент, я не могу его не принять. Где он?

– В парке. Ждет вашего ответа.

– Представьте мне его во время прогулки.

Еленич двинулся в глубину парка, где на скамейке, в тени могучего каштана поджидал его бритый, самодовольный Генрих Альбертович Дегеррарди.

Дегеррарди, явившийся на курорт Врнячке-Банье под личиной корреспондента большой московской газеты Кончаловского интервьюировать сербского престолонаследника, был далеко не новым лицом на Балканах. Да и вообще трепало и носило его по белу свету настоящим «перекати-поле».

Сын итальянца из Южного Тироля и австриячки из Вены, он родился в Одессе. Там протекло его детство, там окончил он мореходные классы штурманов дальнего плавания.

Так началась его карьера. Он кочевал из одного пароходного общества в другое. То сопровождая гигантские грузовики Добровольного флота на Дальний Восток, то щеголяя в белой парусине на палубе комфортабельного пассажирского парохода, бегающего из Одессы в Константинополь и дальше в Александрию, Порт-Саид, Салоники, Пирей...

Красивый нагло-южной красотой brunet с черными усами и румяным лицом, Генрих Альбертович имел успех у скучающих, одиноких, да и не только одиноких путешественниц. Он знал себе цену, и белый холст вместе с белой фуражкой и белыми замшевыми туфлями эффектно подчеркивали всю его молодевагу, расцветенную природой-матушкой фигуру.

Но случился однажды грех: у туристки, уже не молодой дамы, супруги видного сановника пропали из каюты бриллианты. И надо же так, что эти драгоценности во время повального обыска найдены были у Генриха Альбертовича! А матросы видели, как выходил он глубокой ночью из генеральшиной каюты...

Скандал! Замять дело – замяли, но brunet с пышными, производившими впечатление наклеенных, усами изгнан был из «Русского общества пароходства и торговли» и покинул берега Одессы. Он очутился в Румынии, потом в Белграде, и это совпало с первой балканской войной. Голодный бродил он, щелкая своими ослепительными зубами, в осеннюю грязь и слякоть в легонькой синей куртке с якорями на петлицах и в измятом, лихо, однако, съехавшем на затылок кепи.

Спустя два-три месяца подобрала его в Фиуме чуть ли не умирающим с голоду австрийская шпионка графиня Пэкано. Авантюристка, наняв его себе в помощники, увезла отошавшего проходимца в Черногорию. Это было началом уже новой карьеры штурмана дальнего плавания. Карьеры австрийского агента.

В Черногории он скомпрометировал свою благодетельницу, выдвинулся за ее счет, и с тех пор габсбургские дипломаты начали доверять ему самостоятельные поручения.

И вот он снова в Сербии. Но так как его знал кое-кто в Белграде и оставил он по себе не особенно лестную память, то пришлось волей-неволей изменить грим. Скрепя сердце, пожертвовал Генрих Альбертович как своими пышными усами, так и не менее пышной, густой,

напоминавшей расчесанный срединным пробором парик, шевелюрой. Теперь он весь начисто выбрит и череп его лоснится глянцем бильярдного шара.

На курорте Генрих Альбертович снял номер в патриархальном чистеньком «хотеле». С вечера он успел заручиться протекцией милого, благожелательного Еленича. Узнав, что Кончаловский – корреспондент влиятельной русской газеты, секретарь престолонаследника обещал устроить ему интервью. И устроил.

Генрих Альбертович привык долго валяться в постели. Обыкновенно, поскребывая крепкую, волосатую грудь, он курил папиросу за папиросой, машинально бросая окурки на середину комнаты. Но сегодняшним утром валяться не пришлось. Наоборот, уже в седьмом часу вскочил как встрепанный, разбуженный мощными звуками соловьиных трелей. Он условился накануне, что будет поджидать Еленича ровно в восемь на скамейке в глубине парка, и вот секретарь приближается к нему, и по его лицу Дегеррарди видит, что успех обеспечен.

– Идемте за мною. Я вас представлю его высочеству. Вы, кажется, волнуетесь? Напрасно, королевич весьма доступен. У него открытая, славная душа, он любит детей, а кто любит детей...

– Да вы меня не ободряйте, – перебил Дегеррарди, – мне со столькими коронованными особами приходилось беседовать, что я даже и счет потерял... Я ведь сам считаюсь «королем интервьюеров».

Еленич испытующе покосился на этого дюжего бритого молодца. Похвальба отзывала дурным тоном. Неужели такая газета не могла командировать другого корреспондента? Но всякое отступление уже отрезано. Королевич ждет. Секретарь вместе с Дегеррарди свернул в боковую аллею. Там журчал быстро бегущий ручей под деревянным, аркою переброшенным мостиком. Уходят в перспективу два ряда лип, сплетаясь над головой густым зеленым сводом. Благоухающая, вся в цветах листва горит, трепещет на солнце. В глубине этого грота две фигуры. Все ближе и ближе. Еленич дает последний совет.

– Сейчас не особенно задерживайте его, ему нужен моцион. Он обещал интервью и сам назначит время и час...

Королевич с адъютантом уже в нескольких шагах. Дегеррарди снял шляпу.

– Ваше королевское высочество, разрешите представиться, – Кончаловский, специальный корреспондент, командированный для беседы с вашим высочеством...

Александр, улыбаясь и глазами сквозь стекла пенсне и всем своим смуглым, с крупными чертами лицом, протянул ему руку.

– Я очень рад видеть у себя представителя печати из России, которая навсегда останется мне дорогой и близкой по воспоминаниям детства...

– Ваше высочество, я хотел бы оповестить своих читателей о том, как живет и работает наследник сербского престола – победитель болгар и турок, герой Куманова, Монастыря, Нового-Базара, Прилипа, Дойрана...

Дегеррарди, как пулемет, сыпал без передышки всеми городами и местечками, завоеванными в Македонии и Старой Сербии.

Еленич подумал: «Ну, и здорово же он бомбардирует». Высокий адъютант шевелил усами. Королевич вспыхнул румянцем, тем застенчивым румянцем, который охватывал его, когда он слышал не только лесть, но и самую обыкновенную похвалу себе...

– Завтра, в одиннадцать часов утра жду вас, – оборвал дальнейшие излияния Александр коротким пожатием.

Оставив Генриха Альбертовича со своим секретарем, престолонаследник вместе с адъютантом двинулся дальше.

Дегеррарди и Еленич смотрели друг на друга.

– Что? Кажется, его высочество остался не совсем доволен мною? Видит Бог, я от глубины души...

– Он слишком скромн, а вы чересчур стремительно бомбардировали его. Советую вам быть несколько сдержанней во время интервью, иначе вы рискуете вспугнуть королевича. Он замкнется в себе... и вы ничего интересного не услышите.

– Хорошо. Я последую вашему совету, господин Еленич. Хотя, вообще, человек я открытый, прямой и свои восторги мне удается сдерживать с трудом. Как вы думаете, господин Еленич, какое впечатление я произвел на его высочество?

Секретарь, потоптавшись на месте, уклончиво ответил:

– Трудно сказать... Я думаю, пока он вынес впечатление самое поверхностное...

На самом же деле Дегеррарди произвел отталкивающее впечатление на престолонаследника. Положительно непреодолимую антипатию мог внушать этот бритый господин, самые почтительные слова произносящий с таким нахальным апломбом. И в тот момент, когда Генрих Альбертович рассыпался пулеметом: «Куманово, Монастырь, Новый-Базар» и так далее, королевич, видимо, решил не приглашать его к обеду. Он и на интервью согласился потому лишь, чтобы отказом не обидеть редакции большой русской газеты.

На другой день, в одиннадцать часов, минута в минуту Генрих Альбертович подходил к железной калитке виллы «Агнеса». Ровно сутки прожил Генрих Альбертович на курорте в ожидании знаменательного интервью. Он знал чуть ли не каждый шаг королевича на протяжении этих двадцати четырех часов. Знал, что вчера после завтрака он ездил в автомобиле в соседнее село на освящение сельскохозяйственной школы. Знал, что затем в присутствии королевича солдаты наводили понтонный мост через Мораву и Александр вернулся домой поздним вечером, запыленный, загоревший.

Часовой в гусарской форме пропустил Генриха Альбертовича. Шуршит под ногами крупный гравий. Навстречу корреспонденту вышел другой адъютант, пониже ростом, постарше, в орденах. Провел гостя в маленькую приемную, вышел, вернулся.

– Его высочество ждет вас.

В маленькой, – здесь все было на этой даче миниатюрное, – рабочей комнате королевич поднялся навстречу русскому журналисту. Указал ему стул, сам сел и подвинул плоский золотой портсигар с бриллиантовой короной.

– Вы курите?

Дегеррарди схватил папироску; жадным взглядом окинув портсигар. Он с удовольствием взял бы его «на память». Можно было бы говорить, что это ему подарил наследник сербского престола за... мало ли что? Подарил, да и только...

Помня совет Еленича, господин Кончаловский решил быть значительно сдержанней. Ловил себя на готовых сорваться с языка шумных восторгах. Когда он брал большими красными пальцами папиросу, на его руке у самого запястья обнажился маленький татуированный якорь.

– Вы бывший моряк?

– Так точно, ваше высочество. Я – воспитанник Морского корпуса в Петербурге, был выпущен во флот, но в чине лейтенанта вышел в запас, желая отдаться журналистике, к которой всегда имел склонность...

10. Исповедь загорского

– ...Вера Клавдиевна, как я рад, что мы познакомились! И вы, вся такая чуткая, и ваши серо-голубые глаза действуют удивительно успокаивающе. Именно, успокаивающе. Я говорю – познакомились... Мы встречались и раньше, но разве это было знакомство? Вы были очаровательным полурбенком, приехавшим на каникулы из своего «Sacré-Coeur», я был Димой Загорским, которого – одни боялись, другие ему завидовали, но никто не любил. О мужчинах говорю. Женщины, к сожалению, слишком дарили меня своим вниманием. Вообще, мне везло в обществе. Но, даю вам слово, я никогда и пальцем не шевельнул для своей «популярности». А вам разве не говорили обо мне хуже, чем я был на самом деле? Хотя я и сам никогда не драпировался в тогу особенной добродетели. Сознайтесь, приходилось вам слышать обо мне дурное? Помню, я читал в ваших глазах какое-то странное любопытство, смешанное со страхом... так ведь?

– Да, я вас боялась, Дмитрий Владимирович, – просто молвила Забугина.

– Мне везло с детства, и это везение портило меня, развращало... За воспитанием души моей никто не следил, ни мать, ни отец. В особенности – отец. Ему некогда было. Всегда какие-то грандиозные предприятия, какие-то финансовые авантюры... Можно было подумать, что это не кавалергардский полковник в отставке, а какой-нибудь американский делец... Мне все давалось легко. В Пажемском я шел первым и, выйдя в полк, сделался всеобщим кумиром. То же самое – в академии. Теперь смешно вспомнить, какими я занимался глупостями... Я был законодателем гвардейских мод. Я выдумывал фасон кавалерийских сапог, учил портного кроить галифе. Вся гвардейская конница одевалась, как я. Последним моим творческим вдохновением было нежно-сиреневое пальто с мягкими «вшитыми» погонами. Я заважничал, стал снобировать. На дежурство приезжал в полк с камердинером и целым багажом. За это меня следовало бы хорошенько вышутить, а между тем это нравилось, импонировало, вызывая подражание...

Я любил внешний блеск. Меня тянуло в тот круг, который был выше моего, тянуло, хотя я и видел и чувствовал его пустоту. Я презирал то, что было ниже меня, напоминая в этом отношении одного из дипломатов наполеоновской эпохи, не помню сейчас – Меттерниха или Нессельроде, говорившего, что «человек начинается только с «барона».

Женился я не по любви. Моя невеста была дочерью министра, имевшего позади себя шестисотлетнее дворянство. К ним запросто ходили высокие особы, и этого было достаточно, чтобы я сделал ей предложение. Средств больших, так называемых «твердых», у нас никогда не было. Отец то жонглировал миллионами, расточая их как набоб, то нуждался в двух-трех тысячах. Я уже не мог удовлетвориться гарсоньеркой из четырех комнат, как в холостые дни. Нужен был train, надо было принимать, выезжать, и мне льстило, что эти самые особы, которые ездили к моему высокопревосходительству тестю, начали ездить ко мне... Завтраки, обеды, ужины, лошади, автомобиль, ложа в балете...

Я – кругом в долгах, все туже и туже затягивается петля. И вот я попадаю в лапы к банде аферистов. Они впутывают меня в дело наследственных миллионов князя Обнинского...

Я живу двойственной жизнью. С одной стороны – шумной, светской, с другой – меня все больше и больше запутывает вцепившаяся стая жадного воронья. Знакомят меня с католическими священниками. Они льстиво и вкрадчиво доказывают мне мои несомненные права на эти миллионы. Рисуются перспективы одна другой заманчивее, мой аппетит разгорается, голова ходуном ходит, пьянеет, да и весь я в каком-то чаду... Не было близкого человека, не было той хорошей дружеской воли, которая могла бы меня отрезвить. Жена? Жена так мало интересовалась моими личными делами. Да и встречались мы дома в нашей громадной квартире урывками.

Словом... Остальное вы сами знаете, дорогой друг... Знаете из разговоров, из судебных отчетов, облетевших все газеты, не только наши, российские, но и заграничные. Выход из полка, суд, шельмование, позор, лишение всех прав. Я, который так кичился тем, что мы, Загорские, значимся в бархатной книге, я теперь какое-то недоразумение. Даю вам слово, Вера Клавдиевна, если я и виноват во всем этом кошмаре, то лишь моим непростительным легкомыслием, за которое так жестоко наказан. Ни преступления, ни злоумысла не было с моей стороны. До самой последней минуты я не подозревал о подложности завещания, предательски сфабрикованного за моей спиной. Верите ли вы мне? Верите ли, что я не лгу, желая обелиться в ваших глазах?

– Верю, Дмитрий Владимирович! И раньше верила вам. Я считала вас суетным, высокомерным, именно таким, для которого люди начинаются «с барона», никак не ниже, но способным на преступление – никогда!

Голос ее звучал искренне, почти вдохновенно. И в глазах девушки, ясных, глубоких, прочел Загорский, что ему верят.

С важным и строгим лицом он медленно взял ее узкую, маленькую руку, поднес к губам.
– Благодарю вас...

А кругом было тихо, замороженно-тихо в тускло-серебристой дымке белой ночи.

Они стояли у гранитного парапета набережной. Дворцы и особняки, похожие на дворцы, уходили вдаль куда-то, чудясь фантастическими замками, погруженными в цепенеющий сон... Угрюмым силуэтом рисовалась на дальнем берегу Петропавловская крепость. Свинцовой зыбью отливала широкая Нева. Мелькали цветные огоньки шныряющих пароходов, и протяжные гудки их чем-то затерянным, тоскующим низали это безмолвие ночи, дремотной, зачарованной...

И такими же затерянными среди пустынной набережной с ее упругим холодным гранитом было двое – Забугина и Загорский. Близость девушки и эта серебристая ночь как-то невольно внушили ему открыть свою душу, и он говорил, и она слушала внимательно, сосредоточенная, затихшая...

– Вся катастрофа, превратившая меня в бесправное «человеческое недоразумение», повлекла за собой всестороннюю переоценку ценностей. Жизнь дала мне урок, чудовищный по своей жестокости. Я увидел людей, людей моего общества в истинном свете... Один за другим проходили они передо мной на суде. Надо было послушать их свидетельские показания, где эти самые господа в раззолоченных мундирах и треуголках с плюмажами, которые восхищались мною, моими обедами, пили мое вино, курили мои сигары, тратили мои деньги, – в зале суда вероломно отрекались от меня. И как отрекались! Послушать их, – они были едва знакомы со мной, и я всегда казался им каким-то подозрительным проходимцем. Сидя на скамье подсудимых, я многому научился, многое понял! Я понял, что мои лакеи и горничные в своих свидетельских показаниях были куда честней и благородней господ в плюмажах и светских дам. У первых чувствовалось хорошее человеческое сожаление к своему барину, вторые – с непонятным злобным чувством хотели утопить меня...

Прежде брезгливо сторонившийся от «мужика», я только в несчастье своем понял и оценил мужицкую душу. Конвойные, для которых я был в конце концов самым обыкновенным арестантом, называли меня «баринном», «высокоблагородием», относились тепло и чутко.

Моя жена примкнула к «той» партии. Я ее скомпрометировал... Но был еще выход. Этот выход – полнейшее отречение и развод. Она потребовала развод, получила его. И мы сразу перестали существовать друг для друга. Хотя и живя вместе, во дни моего блеска, мы были чужими и чуждыми друг другу. Я рад, что у нас нет детей. Нас не связывают никакие нити. Я мог бесповоротно сжечь свои корабли и навсегда порвать со всем тем, что осталось позади и уж никогда не вернется. Господи, с какой головокружительной высоты полетел великолепный Загорский, баловень и кумир! Как все это было пусто, мишурно, глупо! И может быть, теперь,

именно теперь, после этой так меня переродившей встряски, я сделаюсь человеком, настоящим человеком... Вера Клавдиевна, вы не чувствуете моего обновления?

– Хотите правду? – продолжала Вера Клавдиевна. – Я не могу иначе... Да и слишком вы одаренный и умный человек, чтобы вам нельзя было сказать того, что думаешь.

– Только одну правду, милая, хорошая Вера Клавдиевна, – горячо воскликнул Загорский. – Ведь я почти никогда не слышал правды, к сожалению. Потому, что если бы мне ее говорили, я был бы, пожалуй, другой. Но были одни только крайности. До этой роковой «границы» я слышал одну только лесть, одно только упоение моей особой. А когда с меня сняли красивый мундир и я сел между конвойными с обнаженными шашками, вчерашние льстецы, словно желая отомстить за целые годы искательства, спешили забросать меня грязью... Так вот, в чем же эта правда, Вера Клавдиевна, которую я горю желанием услышать?

– Видите, милый, вы не обижайтесь, я хотела сказать, что в вас осталось еще не мало того «великолепного Загорского», который, по вашим словам, «умер», чтобы никогда не воскреснуть вновь. Я внимательно наблюдаю вас, если хотите, изучаю. Мы видимся каждый день, и поле для моих наблюдений – обширное. Вы сохранили некоторую надменность прежнего гвардейца... Иногда вы высокомерно щуритесь, и, когда разговариваете с кем-нибудь из тех людей, которых принято в обществе называть «полупочтенными», вы держите себя так, словно перед вами какое-то насекомое... Что бы вы ни говорили, а в вас еще сидит, сидит сноб... Вы не обиделись на меня?

– Полноте, Вера Клавдиевна, обидеться на вас, такую сердечную, искреннюю, да еще в эту тихую, прозрачную ночь, когда хочется идти навстречу каким-то чудным зовам и так мучительно хочется раскрыть свое сердце до самых потайных сокровенных уголков. Отвечу вам следующее: вы правы и не правы. Я говорю это потому, что угадал мягкую, чуть слышную нотку осуждения. Но не знаю, каким бы вы предпочли меня видеть, – таким, как теперь, или, наоборот, пришибленной, трусливой собачонкой, ничтожеством после недавнего «величия», потому что как-никак это было хоть и пустое, поверхностное, но все же величие. Мне кажется, если бы я «съезжился» – я пошел бы вниз, со ступеньки на ступеньку... А между тем я чувствую в себе силы, чувствую право перековать свою жизнь заново. Если не здесь, то где-нибудь далеко. Владелец банка, где я служу, предлагает мне выгодное место во Франции. Но не в этом дело... Я только хочу коснуться той надменности, которую вы мне поставили на вид. Это, – будем ее называть надменность, – моя броня, мой щит. Я не поник головой, а несу ее гордо и смело, чувствуя свою правоту. Я не хочу, чтобы меня жалели те самые люди, которых я пускал к себе в дом. При случайных встречах с ними я никогда первый не кланяюсь. С какой стати? Чтобы какая-нибудь каналья сделала брезгливую мину, отвернулась? И что ж вы думаете! Видя это, они первые начинают кланяться, и тогда я отвечаю небрежно, еле-еле. Это мой «стиль», и это, уверяю вас, производит соответствующее впечатление. Я говорю этим: «Ради Бога, не думайте, господа, что я хоть немного, хоть капельку заинтересован вашим вниманием»...

Вот вам случай. На днях я вместе со своим банкиром завтракал у Пивато. За соседним столиком сидела компания – несколько незнакомых мне штатских и упитанный, румяный флигель-адъютант князь Еникеев, малый, в сущности, хотя и не особенно далекий, но добродушный. Мы с ним состояли когда-то в приятелях. Штатские смотрели на меня, Еникеев что-то говорил вполголоса. Очевидно, речь шла обо мне. Вдруг он встает, направляется ко мне. В этот миг я сообразил, что он сказал им приблизительно следующее: «Бедняга Загорский ушел из нашего общества деклассированный, но я все же обласкаю его».

Подходит, широко улыбается, протягивает руку.

– Здравствуй, Дима!

– Здравствуй, – ответил я ему сухо, чуть коснулся его руки и продолжаю свой разговор с патроном...

Еникеев, помявшись на месте, отошел, сконфуженный... Правильно я поступил или нет?

– Как вам сказать... Я, пожалуй, на вашем месте сделала бы то же самое...

– Вот видите! Иначе нельзя было поступить. Если б я обрадовался «чести», что он снисходит ко мне, и рассыпался перед ним, я унизил бы себя и в его глазах, и в глазах банкира, и во мнении этих штатских, и, прежде всего, это самое главное, – в своем собственном. Я поступил, может быть, резко, но, поверьте, вселил к себе уважение, хотя в уважении этих господ несколько не нуждаюсь, потому что презираю их...

Они медленно возвращались к себе на Вознесенский.

Гордым, величественным силуэтом застыл в воздухе Медный Всадник на гранитной скале. Таинственная, мистическая, уходила Галерная улица под монументальной сенатской аркой. Вдали гроыхал трамвай, мелькая освещенными окнами.

Мимо решетки Александровского сада бежал мальчишка с целой кипой газет.

– Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Убийство австрийского эрцгерцога...

Загорский окликнул мальчика, взял у него экстренный выпуск.

В тусклом сумраке белой ночи можно было легко прочесть набранные жирным шрифтом крупные строки. В нескольких фразах описывалось сараевское убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги.

– Вот вам, Вера Клавдиевна, и сенсация среди сонного летнего затишья. Я убежден, что эта сараевская катастрофа всколыхнет многое, и мы накануне больших, очень больших событий...

– Вы думаете, Австрия объявит войну Сербии?

– Я ничего не думаю, но... Ах, я совсем забыл вам сказать... Недели три назад со мной произошел довольно загадочный случай. Меня – вот вы удивитесь! – приглашали на службу в австрийский генеральный штаб...

11. Что предлагал Юнгшиллер

Ганс Юнгшиллер «одевал» чуть ли не пол-России. Не говоря уже про Петербург и Москву, его бесчисленные магазины мужского и дамского платья разбросаны не только по всем губернским городам нашего необъятного отечества, но и по крупнейшим уездам.

У Юнгшиллера можно было «одеться» в Архангельске и в Ялте, в Радоме и в Тифлисе, в Бердичеве и Владивостоке.

Этот благодетель одевал на все цены и вкусы. Одевал крупных чиновников, писцов из участка, студентов, офицеров, лесничих, дам общества, белошвеек, мещаночек, актрис, девиц с панели...

Допускалась наивыгоднейшая рассрочка. Счет в семьдесят-восемьдесят рублей можно было выплачивать по два рубля в месяц.

Десяткам тысяч людей давал Юнгшиллер кусок хлеба.

Если собрать всех вместе – кассиров, закройщиков, мастеровых, управляющих магазинами, собрать весь этот люд, разбросанный повсюду в малых и больших городах, от севера на юг и с запада на восток, – получилась бы целая армия.

Но Юнгшиллер не ограничился одной Россией. В такой же или почти в такой же мере одевал этот всегда румяный, всегда веселый блондин-здоровяк и разноязычное население своего собственного отечества Австро-Венгрии. Повсюду – в Граце, Вене, Загребе, Темешваре, Львове, Фиуме и даже в таких захолустьях, как Самбор, можно было встретить вывеску: «Магазин мужских и дамских платьев Юнгшиллера».

Он проник даже на Балканы – в Константинополь, Софию, Белград. Он имел свой большой магазин в Салониках, с широченной вывеской на трех языках – греческом, турецком и еврейском.

Сам Ганс Юнгшиллер – (его штаб-квартирой был Петербург) – носился в частых разъездах по белу свету, проверяя свои разметавшиеся в двух империях магазины, производя им настоящие инспекторские смотры.

На островах он имел свою виллу. Какое виллу! Громадную усадьбу с каменным двухэтажным особняком, гаражами для автомобилей, конюшнями и теплым зданием манежа, где зимой этот «король портных» устраивал карусели.

У Юнгшиллера был даже «свой собственный» берег. Этак на четверть версты. Проволочные ограждения, колючие, в добрый человеческий рост, надежно охраняли уединенный в зарослях берег с пристанью, напоминавшей маленькую, отлично оборудованную гавань. Весною, летом, осенью, вплоть до заморозков стояла в этой гавани целая флотилия моторных лодок, разных величин и скоростей.

Никто из чужих не смел подплывать близко к владениям этого феодала-спортсмена вообще и любителя водяного спорта – в частности.

У Юнгшиллера была своя речная полиция, из двух-трех человек, но все же была. Если кто-нибудь из катающихся на пути к взморью приближался к «гавани» Юнгшиллера ближе, чем это полагалось, – навстречу выносился ялик с одетым по-матросски человеком. Он грозил веслом, кулаком.

– Отчаливайте, мол, дальше подобра-поздорову!

Так оберегал свой покой и свою экстерриториальность на берегах Невы австрийский подданный, без году неделю принявший русское подданство, Ганс Юнгшиллер, благотворитель, кавалер многих орденов и статский советник.

Высокая башенка, откуда без конца-краю видны Петербург и Финский залив; поднималась над особняком. А над ней, в свою очередь, по некоторым дням взвивался черно-желтый

габсбургский флаг. Совсем как если б вилла Юнгшиллера была летнею резиденцией австро-венгерского посольства.

На этой вилле, кстати, – называлась она «Вилла-Сальватор», – часто бывал Манега. К услугам аббата Юнгшиллер предоставил один из своих автомобилей, постоянно дежуривший у «Семирамис»-отеля. Манега, как женщина шлейф, приподнимал свою сутану, садился, в зависимости от погоды, в закрытое или открытое купе, шофер мчал его, и спустя каких-нибудь двенадцать минут аббат находился уже в пределах «Виллы-Сальватор».

Манега поручил Юнгшиллеру заняться Дмитрием Владимировичем Загорским и ценою каких угодно заманчивых «горизонтов» привлечь его возможно скорее на службу венскому генеральному штабу.

– Удастся ли? – колебался Манега.

– Аббат, я почти не сомневаюсь в успехе. Ведь ему нечего больше терять. Имя запачкано! Все – ордена, чины, дворянство, привилегии – все пошло насмарку! С его аппетитами, с его недавним положением – коптеть в банке над какой-то заграничной корреспонденцией – согласитесь?..

– Попробуем!..

Юнгшиллер «попробовал».

Зацепку найти легко. Начать можно так, например: он, Юнгшиллер, далеко не прочь доверить Загорскому управление своим петербургским магазином, которому тесно в четырех этажах с гигантскими зеркальными витринами. Жалованье – двадцать четыре тысячи в год.

Начать можно с этого, а дальше... дальше будет видно.

И вот Юнгшиллер сначала забросил карточку Дмитрию Владимировичу и, не застав его дома, на другой день прислал официальное письмо на бланке своего «торгового дома», с покорнейшей просьбой пожаловать для переговоров по делу, являющему собой взаимный интерес и выгоду.

Холодный текст пишущей машинки сменялся несколькими очень любезными строками, – собственный автограф Юнгшиллера, где он звал Загорского к себе, совершенно запросто, к обеду.

Юнгшиллер встретил его, веселый, улыбающийся. Тряслись от смеха полные румяные щеки. Двоился подбородок, морщилась кожа на жирном затылке. Внешность скорее пруссака, чем австрийца, хотя Юнгшиллер настоящий австрийский немец и покойный папаша его торговал какой-то мелочью вразнос у собора святого Стефана.

Юнгшиллер старался быть светским.

– Вы знаете толк в лошадях, месье Загорский? До обеда осталось еще минут пятнадцать, и я, с вашего разрешения, покажу вам свою конюшню.

В каменной, содержащейся в образцовом порядке, освещаемой электричеством конюшне рядами стояли покрытые шегольскими попонами верховые и упряжные лошади.

Вымуштрованные конюхи в серых куртках, сапогах со шпорами и каскетках выводили лошадей из стойл. Хозяин ждал комплиментов по адресу своей конюшни, но этот бритый гость с внешностью лорда, в безукоризненной черной визитке и легоньком пальто небрежно уронил два-три замечания знатока мимоходом и кстати вспомнил свое посещение конюшен покойного английского короля Эдуарда.

Юнгшиллер как-то притих и уже меньше смеялся, меньше хихикал, с неудовольствием ловил себя на мысли, что он, миллионер, широко независимый человек, к которому ездят на поклон видные сановники, князья и графы, адмиралы, теряется в обществе этого «ошельмованного» человека без всяких прав, без всякого положения, кроме разве «отрицательного».

А вся повадка Загорского, холодная, высокомерная, была такая, словно Дмитрий Владимирович оказывает Юнгшиллеру честь своим посещением и своим согласием у него отобедать.

В особняке на каждом шагу была в глаза роскошь, особенная, скороспелая роскошь, дающая вдруг, большими деньгами, а не наследственным, переходящим из поколения в поколение барством.

– Эту гостиную Людовик Пятнадцатый я купил целиком, как она была на парижской выставке, – пояснил Юнгшиллер, – а это настоящий Тициан, это настоящий Ван-Дейк. Я платил солидную сумму...

Загорский вежливо, очень вежливо усомнился...

Прищурившись в монокль, Дмитрий Владимирович рассматривал обе висевшие рядом картины. Потом сказал:

– Единственный подлинник тициановского портрета, – изображен ведь памфлетист Пиетро Аретино, – находится в Венеции. Что же касается Ван-Дейка, то опять-таки единственный оригинал этого юноши в латах хранится в галерее герцогини Девонширской.

Подоспевший лакей вывел хозяина из неловкого положения.

– Мы будем обедать вдвоем. Супруга моя извиняется, не может выйти. Она нехорошо себя чувствует.

Это было не совсем так. Госпожа Юнгшиллер находилась в отменном здоровье. Но муж решил, что ей неудобно, пожалуй, принимать гостя, несколько месяцев назад вышедшего из тюрьмы. Полчаса назад Юнгшиллер и не подумал бы извиниться, но теперь Загорский положительно придавил его «великолепием» своим. Теперь Ганс пожалел, что «супруга» не выйдет к столу.

Обедали в «малой» квадратной столовой, балконом выходявшей на Неву. Говорили о пустяках. Больше говорил хозяин. Лишь к концу, за кофе, сигарами и ликерами приступил Юнгшиллер к выполнению желания аббата Манеги.

– Вы, кажется, изволите служить в «Интернациональном банке», Дмитрий Владимирович?

– Да, я служу именно в этом банке.

– Мне мелькнула мысль... ха, ха... вы знаете, это забавно... переманить вас к себе. С этой целью я и побеспокоил вас.

Загорский, отхлебнув из чашечки густого, горячего кофе, вопросительно посмотрел на Юнгшиллера.

– Я хотел бы предложить вам, если пожелаете, «пост» управляющего моим здешним «Торговым домом». Я полагаю, мы сошлись бы в условиях?..

– Вы думаете, что я мог бы занять этот «пост»? – молвил Загорский с чуть заметной иронией, подчеркивая слово «пост».

– Я не сомневаюсь, что у вас окажутся налицо администраторские способности. Каких-нибудь специальных знаний здесь не требуется. Я хотел бы знать ваше принципиальное – да или нет? Что же касается условий, в этом, повторяю, вы имеете от меня полное.

– Надо подумать. Сейчас, здесь за столом, я не могу решить.

– Ну, конечно же, конечно... Время терпит. Но, сознаюсь, вы произвели на меня такое оборожительное впечатление, что я хотел бы очень вместе с вами поработать. Еще кофе?.. Как вам нравится сигара? Не правда ли, мягкая на вкус?.. Табак гаванский, но свертка бразильская.

– Да, свертка бразильская, – согласился Дмитрий Владимирович, – только бразильские негры умеют сообщать сигаре такую шероховатую, неправильную форму.

– Не угодно ли на балкон, подышать воздухом?

Вышли.

Внизу разбит цветник. Садовник, в синей блузе и синем переднике, поливал газоны, ловко работая длинной, шуршавшей по гравию, змеиными кольцами, кишкою.

Благоухали анютины глазки, тюльпаны, белые и желтые лилии.

Дальше за цветником – приземистые липы, жиденькие, застенчивые березки. Сквозь кружево листвы горела Нева в теплых красноватых предзакатных лучах, и далеко-далеко уходило застывшей недвижимой гладью взморье.

– Хороший вид, не правда ли? Я коммерческий человек, но люблю природу.

Пауза. И опять-таки нарушил ее хозяин.

– Дмитрий Владимирович, с первого же знакомства я почувствовал к вам большую симпатию. Я искренне желаю вам всего хорошего. Мне мелькнула одна мысль... Вы позволите говорить откровенно?..

– Говорите.

– Я только что предлагал вам пост с министерским жалованьем. Предлагал и предлагаю, но мне кажется, это все же не то. Я позволю себе, заранее принеся мое извинение, коснуться одного щекотливого вопроса. Вы на меня не обидитесь?..

– Нисколько! Вы желаете коснуться того, что всем и вся известно, о чем все успели забыть, и прежде всего я сам...

Ободренный этим, Юнгшиллер продолжал уже смелее:

– Хотя вы пострадали невинно, сделались жертвою всяких там чужих авантюр, в чем я нисколько не сомневаюсь, но все же, смею думать, для вас было бы самое лучшее, как бы это сказать... «депеизироваться», именно это слово – депеизироваться... В другой стране, вдали от этого гнилого Петербурга, вы чувствовали бы себя... вы меня понимаете?..

– Вы хотите мне предложить место в одном из ваших заграничных торговых домов?..

– Да... то есть... как вам сказать... не совсем. Я могу продолжать?

– Сделайте ваше одолжение. Только нельзя ли короче?

– Видите, Дмитрий Владимирович, вы, по-вашему, так сказать, «метье», военный, и к тому же еще с академическим образованием. Вы могли бы начать вашу карьеру опять, заново, и достигнуть высокого положения.

– Где?..

– А вот где, – Юнгшиллер глотнул воздуха, и будь что будет, – я имею основание... у меня есть косвенные данные... если хотите, даже прямые, что вы... что вас охотно приняли бы на службу в австрийский генеральный штаб с чином полковника, как бывшего ротмистра гвардии.

Немного побледнев, немного испугавшись, хозяин ждал ответа...

Загорский ответил не сразу. Он стоял непроницаемый, замкнутый, и только белые, красивые пальцы его вздрагивали, сжимая чугунную решетку балкона...

12. Дом свиданий

Мадам Карнац, открывая свое заведение вместе с черномазым Антонелли, решила, раз это будет институт красоты, то ограничиваться только массажем, парфюмерной торговлей и «смягчением кожи», по меньшей мере, было бы глупо.

Седух укрепил ее в этом благом решении.

Разглаживая бакены, чуточку заикаясь, молвил:

– Да... а... там, где красота, должны быть стрелы амура... амура... да... и вообще, гнездышко любви... любви, да. И выгодно, вот на Волынкином переулке француженка, отставная мамзель... да, отставная, за бутылку шампанского тридцать рублей лупит... лупит... да.

– А ви почему знает? Ви там биль? Ви там развратничаль? Негодяй, эмбесиль, – накинулась Карнац в ревнивом гневе на своего сожителя.

– И не думал! Вот еще. Чего я там не видел? Не видел, да... Вообще, говорят...

– Негодяй, я вас презирай!..

Эта семейная размолвочка нисколько не помешала им дружно вместе взяться, чтобы создать конкуренцию Волынкину переулку.

Альфонсинка затмила крашеную, трепаную француженку. Настолько затмила, что посамрамленная соперница до крови кусала губы желтыми вставными зубами.

Первой ласточкой, вернее, первым общипанным цыпленком был невзрачный маленький старичок, сановный любитель крупных женщин.

– Мадам Карнац, мне нужен массаж. Хе, хе, массаж...

– Понимай, экселлянс. У меня есть шведка, это кариатид с эрмитажный мюзе, а не женщин, завсем ваш вкус.

– А вы почем знаете мой вкус?

– О, экселлянс, мадам Карнац все знает... знает маленьки шалость такого большой человек, как экселлянс.

Через неделю Альфонсинка на чем свет разносила сановного старичка.

– Это разбой, это чисти бригадаж! Он брал мой Эльза на содержание и теперь я без опытни массажистка. Что скажет мадам Айзенштадт, который привыкли массироваться через Эльзу? Что скажет вся моя клиентель? Бригандаж на большой дорога...

Альфонсинка обслуживала самую пеструю, самую разнообразную «клиентель». Является крупный финансист. Крупный теперь. Несколько лет назад паршивенький биржевой заяц, в жеваной визитке, в заношенном белье с липнущим к потной шее грязным воротничком, он метался как угорелый под величественным портиком античной колоннады у Биржевого моста. Несколько лет назад... А теперь он богат, директор банка и живет в свое удовольствие.

Но темное, унижительное, физически нечистоплотное прошлое все еще цепляется за финансиста и никакими духами, эссенциями не заглушить подлого запаха. И вот он во всеоружии туго набитого бумажника бомбардирует Альфонсинку.

– Послушайте, мадам Карнац... я хочу иметь... ну, как это говорится... ну, знакомство, что ли, с какой-нибудь титулованной дамой. Мне все равно, красивая или некрасивая она, толстая или худая, как щепка, лишь бы она была княгиня или графиня. Сколько будет стоить, я заплачу.

Иногда Альфонсинка пускалась на хитрость, подсовывая фантастических графинь и княгинь. Но это редко удавалось.

Народ, прошедший огонь и воду, и медные трубы, веривший лишь в документ или в то, что «дается на ощупь», выскочки финансисты, жаждавшие титулованных проституток, требовали доказательств. А некоторые прямо указывали.

– Хочу такую-то. Хочу графиню Штукензее... Один мой приятель ужинал с ней за пятьсот рублей.

Мадам Карнац облегченно вздохнула, говоря, однако, для вида:

– Ваш приятель обманчик, эн мантер... я знай графиня Штукензее, это очинь, очинь строгий светский дама, очинь прюдантный. Но для вас, мосье, я сделаю невозможность. Ви будете иметь эн пти роман авек мадам ля контесс Штукензее. Но это будет стоить две тысяч. Один для меня, другой – на бедни графини. Она очинь благотворительни дама, эль э тре шаритабль!..

Графиня Штукензее, расплывшаяся тридцатипятилетняя баба, с вульгарным, вздернутым носиком и лицом горняшки, несмотря на свою древнюю девичью породу, будь она Петровой, Сидоровой, Карповой, – никто и внимания не обратил бы. Но – графиня Штукензее, отец ее был чуть ли не герцог. Любому финансисту или биржевику лестно при случае, а то и без всякого случая, прихвастнуть такой блистательной «авантюрой».

Вечерами, а то и глубокой ночью графиня Штукензее под темной, густой вуалью, шевеля ходившими ходуном жирными бедрами, поднималась не раз к мадам Карнац, где в одной из гостиных вместе с фруктами и шампанским нетерпеливо поджидал один из баловней фортуны, вознесшей его из вечного завсегдатая трущобных кофеен в крупного дельца, ворочающего миллионами.

На другой день, завтракая у «Медведя» или «Кюба», он будет говорить, дымя четырехвершковой сигарой:

– Вчера был с этой... знаете, графиней Штукензее...

– Муж молодой... красавец брюнет?

– Ну, да, та самая! Другой нет! – длительная гримаса. – Ничего особенного, корова... Шампанское дует, как гусар.

У мадам Карнац накопилась богатейшая коллекция мужских и женских фотографий. Товар лицом – на выбор.

Некоторые весьма отменного изящества джентльмены, в салонах почтительно склоняющиеся к дамским ручкам, обалдели бы от изумления, узнав среди портретной галереи мадам Карнац некоторых обладательниц этих самых ручек...

Но жизнь так дорога в столице, а всевозможные тряпки, туалеты – безумных денег стоят. Мужья, – у них свои расходы, свои кутежи, свои любовницы и содержанки.

Многие из них смотрят сквозь пальцы, никогда не спрашивая, откуда у жены бриллиантовые серьги, умопомрачительное четырехсотрублевое «парада» на шляпе или горностаевая накидка. Мужскими карточками интересовались купчихи, содержанки, дамы общества, молодые, пожилые и старые.

Сколько жалоб наслушалась кругленькая, в неизменном бархатном платье Альфонсинка.

– Ах, мадам Карнац! Мой муж... если б вы знали... он никуда, никуда не годится...

– Мадам Карнац, войдите, дорогая, в мое положение. Ведь я хочу ласк любви, я не монахиня, да и монахини... но не могу же я взять любовника из своего крута, пойдут разговоры, сплетни.

Мужская портретная галерея... Кого-кого только не было... Экзотические графы с внешностью цирковых наездников и заправские наездники. Прилизанные, с печатью порока и тупости служащие в конторах и банках молодые люди, которым не хватает скромного жалованья. Налетевшие из-за границы авантюристы, атлеты с могучими обнаженными торсами.

Демонстрацию карточек Альфонсинка сопровождала красноречивым «пояснительным текстом», подобно плантаторше, выхваляющей достоинства своих рабов.

Недавно, совсем недавно «утетила» Альфонсинка госпожу Юнгшиллер, богато, пестро и кричаще одетую немку с большим мокрым ртом, большими руками и ногами.

– Мой муж совсем забил меня, он весь занят своей политикой! – сетовала высокая блондинка. – Фуй, нельзя же так! Я сама патриотка, но нельзя же забывать, что я женщина.

– Ах, эти мужчины! – подхватила Альфонсинка, – они сами виноват, если жена изменяет. В руках госпожи Юнгшиллер очутился незаметно всученный альбом.

Еле-еле пробивающиеся усики. Усищи самовлюбленных самцов. Английские проборы. Взбитые коки. Зверски-решительные глаза. Блондины. Брюнеты. Шатены.

Внимание госпожи Юнгшиллер привлек молодой негр-борец с громадными, как у лошади, белками.

– Этот? – вопросительно взглянула клиентка на мадам Карнац.

– О, это можно! Даст ист меглих!.. черный... Он немножко пахнет штинкт. Но это ничего... Это – мужественность, абер он очинь сильни... Колоссаль штарк!..

– А он не кусается? Говорят, все негры кусаются, когда влюблены?

– Я ему скажу, чтоби он не кусалься.

И вот в гостиной, той самой, где поджидали графиню Штукензее тщеславные банкиры, встретила госпожа Юнгшиллер с негром. Он пялил на нее свои лошадиные белки и молчал.

Супруга короля портных не говорила по-английски. Но это было выразительней всяких разговоров, – он снял пиджак и, оставшись в полосатой фуфайке, напряг бицепсы темно-бронзовых рук своих. Мадам Юнгшиллер, замлевшая, коснулась этих бицепсов.

– Колоссаль штарк!..

Черный геркулес украсил низко выстриженную голову Юнгшиллера великолепными ветвистыми рогами...

13. Первые подозрения

Вот до чего дошло... Этот упитанный, самодовольный немец зовет его на австрийскую службу... Посмел звать... Первым движением Загорского было схватить Юнгшиллера японским, обессиливающим самого крепкого человека приемом и сбросить вниз с балкона. Первым движением... Но холодный рассудок поборол это желание. Несмотря на бесстрастную маску лица, мозг мучительно работал, угадывая здесь, на этой вилле, какую-то ниточку, могущую привести в очень сложный и очень интересный лабиринт. Сразу раскрывать свои карты было бы бесполезным донкихотством, потому что не может же его оскорбить это влюбленное в себя и в свои миллионы животное?..

Юнгшиллер, то бледнея, то вспыхивая пятнами, с дрожащим двойным подбородком, ждал ответа.

Ну, и аббат Манега! Замешал в переплет... В самом деле, патриотизм патриотизмом, но такие щекотливые положения, как сейчас, – право, это вовсе не так уж интересно!

Юнгшиллеру хотелось закричать, затопать на садовника, хотя тот исполнял свое дело не надо лучше.

Хозяин услышал наконец ответ своего гостя.

– Господин Юнгшиллер, второе предложение ваше, как вы сами понимаете, значительно более сложное. В первом случае – я не дал вам прямого ответа, во втором же и подавно потребуются время. Взвесить все «за» и «против» и, в конце концов, решить вопрос так или этак. Надо признаться, не совсем уясняю столь внимательное и лестное, – Загорский улыбнулся углами губ, – отношение австрийского генерального штаба к моей скромной особе. В единственных условиях мог бы я, действительно, принести большую пользу там, в Вене, это в случае войны с Россией. Но против своего отечества я никогда бы не стал работать и служить своими знаниями. А пойти просто в наемники, в ландскнехты – какой смысл? По этой части специалисты пруссаки, обратившие военное дело в ремесло. Быть может, Австрия предполагает в самом недалеком будущем воевать с нами? – неожиданно спросил Загорский, думая поймать врасплох этого ставшего ему подозрительным вместе с его виллою миллионера.

Юнгшиллер, смеясь, протянул вперед обе ладони.

– Что вы, что вы, Дмитрий Владимирович! По-моему, политический горизонт ясен и чист, я позволяю себе это картинное сравнение, ха, ха... Нет, в самом деле, Австрия, как никогда, настроена миролюбиво по отношению к своей дружественной восточной соседке. Наконец, за кого же вы меня принимаете? Я порядочный человек, джентльмен. Если бы действительно предвиделась война, неужели я позволил бы себе? Да ведь это было бы в высшей степени... Я не русский человек по происхождению, но я люблю Россию. Это мое второе отечество, я много делал и делаю для России. Я с гордостью ношу чин статского советника и убежден, что среди истинно русских таких горячих патриотов, как я, честное слово, немного. Итак, значит, в принципе мое предложение вам улыбается и вам надо подумать, взвесить, так я вас понял?..

– Вы меня поняли правильно. Кстати, один вопрос, чисто технический. Допустим, – я ничего не сказал, – но допустим, я согласен, в какой срок я должен мобилизоваться и уехать?..

– Я думаю, чем скорее, тем лучше и даже наверное – лучше.

– Теперь дальше, я знаю, что в смысле выезда за границу мне чинились бы препятствия паспортного характера. По закону я имею право на совершенно свободное передвижение, но у нас закон и произвол так тесно переплетаются... Я уже пытался и знаю... Меня измучили бы всего, пока я, наконец, добился бы заграничного паспорта. Согласитесь, это с вашим «чем скорее, тем лучше» плохо вяжется.

– Ах, вот в чем дело. Да ведь это же сущий пустяк! – обрадовался Юнгшиллер, в этой радости своей забывший всякую осторожность, – заграничный паспорт, ничего не может быть легче! Мы его в двадцать четыре часа устроим через мадам Лихолетьеву.

– Через Елену Матвеевну?

– Да, да, натурально, через Елену Матвеевну. Она так сделает, – Юнгшиллер понизил голос, – что вы как будто бы едете в Австрию в целях тайной контрразведки... пропуск, пропуск или паспорт, это все равно, будет выдан на какое-нибудь чужое лицо. Вы сами знаете по генеральному штабу, что специалисты по тайным контрразведкам большей частью работают под «псевдонимом»...

Юнгшиллер осекся, умолк, сообразив, – эта мысль его холодком обдала, – что взболтнул, и даже очень, лишнее, сорвалось же у него имя Лихолетьевой, которую Загорский знает, несомненно знает, сам же поспешил назвать Еленой Матвеевной.

И в досаде на себя Юнгшиллер откусил кончик сигары. Он с удовольствием сделал бы это самое с кончиком своего длинного языка.

Дмитрий Владимирович, забыв о присутствии хозяина, смотрел вдаль, поверх лип и берез, где в лучах заката догорала тускнеющим пламенем река. Потом, сощуриив немного близорукие глаза, поднес к ним кисть левой руки с часами-браслеткой.

– Мне пора...

– Уже так скоро? Я велю подать машину. Вообще, милости просим, когда вздумается. Вот карточка. Позвоните по любому из этих четырех телефонов, два здесь, два – городские. Прямо на стол, в «башню». Позвоните, и я пришлю за вами автомобиль. Когда... когда можно рассчитывать на ваш окончательный ответ?..

– Недельный срок даете?

– Самый крайний срок?

– Через восемь дней я поставлю вас в известность.

– Пусть будет – да! Это в ваших же интересах, Дмитрий Владимирович...

Юнгшиллер проводил гостя до самой машины и собственноручно захлопнул дверцу. Этой чести по адресу человека, вышедшего из тюрьмы, Юнгшиллер не оказывал посещавшим его действительным тайным советникам и адмиралам. Оставшись один, Юнгшиллер побранил себя за излишнюю откровенность. Побранил и, как человек, уверенный в себе и в том, что все, что он делает, хорошо, тотчас же успокоился.

Загорскому смысла нет никакого болтать. Зачем? Для них он умер, они его выбросили за борт, и теперь он весь – одна «оппозиция». Но если бы даже и проговорился, кто ему поверит? Ганс Юнгшиллер считается в двадцати миллионах, а такие люди – уже вне всяких подозрений.

Он вызвал по телефону «Семирамис»-отель и попросил соединить себя с номером аббата Манеги.

А Загорский, откинувшись на кожаные подушки, мчался по направлению к городу. Мелькали мостики, мосты, деревья, пешеходы, гудящие сиренами автомобили, экипажи. Сумерки, прозрачные, бессонные, уже переливались в белую ночь...

Кто-то узнал Загорского, поклонился, но Загорский не заметил. Он думал о своей беседе на балконе Юнгшиллера. Сам Юнгшиллер не особенно удивил его. Он знал, что большинство живущих в России австро-германцев, и богатых и бедных, совмещают со своим явным занятием и ремеслом еще и тайное политическое служение своему фатерляиду. Знал, и почему же этот Юнгшиллер, так прочно осевший на берегах Невы, должен явиться исключением? Но вот что удивило Дмитрия Владимировича – это имя Елены Матвеевны Лихолетьевой. Неужели, неужели какие-то загадочные темные щупальцы протянулись между нею и этим «русским патриотом», а следовательно, и со всеми теми, кто с ним заодно? Это, это уже совсем дело дрянь...

Высокая, видная, с белым, бледным какой-то восковой бледностью лицом, она была бы даже красива, не порти отчасти ее большой нос. Бывают крупные, породистые носы, и тогда – совсем другое впечатление. Но у Елены Матвеевны большой – и только, без всякой породы.

Она вся холодная, в манерах, обращении. Холодное, малоподвижное лицо. Какая-то белая маска. И глаза холодные, ничего в них не прочтешь, кроме эгоизма бездонного и культа своего собственного я, своего тела, всего, что близко связано с нею, Еленой Матвеевной Лихолетьевой...

В силу положения своего супруга Лихолетьева имеет право считаться дамою общества, если не замкнутой родовой, то, во всяком случае, бюрократической знати. Но и в этом чисто петербургском кругу, где все более или менее знают друг друга, она явилась пришлицей, новой, никому не ведомой пришлицей из глухой провинции...

Однако в известном такте и в умении жить ей нельзя отказать. Она не лезет, подобно другим дамам-выскачкам, туда, где ее могут осадить и щелкнуть по носу. Честолюбивая, властная Елена Матвеевна сама хочет быть центром. И достигла этого. Сиятельные дамы, говорящие о ней в своих салонах с оскорбительной гримасой снисхождения, хлопчут у Елены Матвеевны за своих племянников, сыновей, братьев.

Говорят, она обделывает всевозможные дела за спиной своего ничего не подозревающего, влюбленного в нее мужа. Говорят, она не жалуется просителей с пустыми руками и к ней знают дорогу, и верную, крупные подрядчики, поставщики и просто «комбинаторы» высокого полета.

Все это вспомнил дорогой Дмитрий Владимирович. В дни своего «блеска» он встречал Лихолетьеву. Но хотя он был молодым офицером в небольших чинах, ему и его жене открыты были те двери, что плотно, раз и навсегда, закрылись перед Еленой Матвеевной.

Он встречал ее в том переходном обществе, которое само себя называет «великосветским» и которое комплектуется из сыновей выслужившихся чиновников и офицеров гвардейских частей посромнее. Лихолетьева дальше этого слоя не поднималась, Загорский же, наоборот, лишь время от времени снисходил к этому кругу.

Он вспомнил – это было около трех лет назад – один полукутеж, полупросто ужин в отдельном кабинете «Медведя». Было несколько однополчан Загорского, и в их компании очутился германский военный агент. Всегда напыщенный, высокомерный полковник, с пробором через всю голову, быстро охмелел от двух-трех фужеров шампанского и, подсев на диван к Загорскому, начал выбалтывать о существовании двух квартир, на Лиговке и на улице Гоголя, где можно покупать русские политические секреты. Военный агент уронил при этом имя Лихолетьевой.

Тогда Загорский решил, что пьяный немец мелет вздор. Но теперь, вспомнив другого «немца», Юнгшиллера, мало-помалу пришел к заключению, что здесь, пожалуй, где-то близко таится правда.

Кстати, вскоре после того ужина военный агент был отозван в Берлин. Случайное совпадение или германское посольство поспешило убрать не в меру словоохотливого полковника, – кто его знает?

...Загорский тянул со своим ответом. Юнгшиллер дважды звонил к нему в банк, Загорский отговаривался недосугом, просил повременить.

Минула неделя, другая, третья... Дмитрий Владимирович виделся почти ежедневно с Забугиной, но так и не рассказал своего приключения. И вспомнил об этом лишь ночью, когда они возвращались домой с прогулки, а маленькие газетчики бегали по всем направлениям, сбывая проходим свой сенсационный товар о катастрофе в далекой столице Боснии.

Загорский вкратце описал Вере Клавдиевне свое посещение «Виллы-Сальватор». Девушка была возмущена.

– Негодяй, как он смел предлагать вам измену? Вы, такой самолюбивый, гордый, вам следовало его оскорбить, ударить!..

– Он думал, что я продаюсь и меня, «бывшего человека», можно купить. Он учел «внешность», но не учел психологии. Конечно, я мог бы его оскорбить, ударить, швырнуть вниз с балкона. Мог бы, но – к чему? С такими типами, как Юнгшиллер, не считаются. Оскорбление не достигло бы цели, потому что он ещо не почувствовал бы, или разве только физически. Но я вспугнул бы его, а так у меня будет возможность понаблюдать, поразузнать... Я уверен, что этот благотворитель и «без пяти минут генерал» – темная каналья и его «Вилла Сальватор» является штаб-квартирой, вернее, одной из штаб-квартир немецкого шпионажа в Петербурге. Мне все подозрительно теперь. Все – и пристань с моторными лодками, и башня, и голуби что с таким приятным шелковым, шелестом крыльев носятся над конюшней и садятся на плечи конюхам настолько они ручные. Моя подозрительность идет дальше... Вы думаете, что я, фантазирую в эту белую ночь, но, право же, сопоставьте такое нетерпеливое желание этих господ видеть меня на австрийской службе с убийством эрцгерцога, убийством, в котором мне чудится первое зарево пожара, могущего разрастись до чудовищных, необъятных размеров...

– Вы фантазируете, а мне жутко, – молвила тихо Забугина и, во власти нарисованной Дмитрием Владимировичем картины, прижалась невольно к нему, и он почувствовал ее всю, близко, близко почувствовал, хрупкую, женственную.

Они шли через мостик. Внизу, в гранитных берегах отливала тусклой свинцовой гладью застывшая вода, отражая в себе, как в зеркале, опрокинутые громады каменных домов, тающих в прозрачной, белесой, тоскующей дымке...

14. Грезы банкира

Банкир Мисаил Григорьевич Айзенштадт и супруга его Сильфида Аполлоновна жили душа в душу. Настолько душа в душу, что самым серьезным образом обсуждали вопрос относительно «содержанки» Мисаила Григорьевича. Супруги пришли к заключению, что Мисаил Григорьевич настолько богат, настолько известен всем и вся в Петербурге и даже за пределами обширного отечества, что не иметь содержанки ему – это уже совсем дурной тон.

Честолюбивая Сильфида Аполлоновна принимала этот назревший вопрос, пожалуй, гораздо ближе к сердцу, нежели сам Айзенштадт.

Совещание – в громадном кабинете банкира, где все давит своей тяжеловесной монументальностью, все, за исключением хозяина, юркого, маленького, с изрядным животиком, потому что какой же порядочный банкир мыслим без животика?

Правда, за последнее время создалось новое поколение банкиров, сухощавых, бритых, с лицами не то благовоспитанных каторжников, не то английских спортсменов.

Но почтеннейший Мисаил Григорьевич никаким спортом, кроме биржевого, не занимался, и зачем, спрашивается, ему сухощавость? Наоборот, он искренне сетовал, что. фигуре его недостает солидности. Прибавить ему еще два вершка и пуд весу, и было бы совсем хорошо.

Что до роста, здесь, увы, ничто не поможет, хотя есть какие-то шарлатаны открытой сцены, произвольно «увеличивающие и уменьшающие свой рост», но вот касательно лишнего пуда – это, как говорится, дело наживное.

Итак, в кабинете с министерским письменным столом, величиной с добрый бильярд, и с кожаными креслами с высоченными спинками, – с места не сдвинешь, – происходил семейный совет.

Мисаил Григорьевич был вообще нежный супруг, а тут Сильфида Аполлоновна мудрым женским тактом своим окончательно умилила его.

– Сильфидочка, божество мое, иди сядь ко мне на колени...

Сильфида Аполлоновна, – вот кто был монументальным существом совсем уж в тоне и духе с этим кабинетом-гигантом, – рослая, мощная, с формами рубенсовских женщин и даже сверхрубенсовских, – она в своих очень тяжелых, очень дорогих и очень безвкусных парчовых и расшитых золотом платьях, с целым ювелирным магазином на голове, на тучной короткой шее и на груди напоминала какое-то буддийское божество, сплошь изукрашенное драгоценными камнями.

Такое великолепие допускалось хотя и весьма часто, – Айзенштадты вели жизнь шумную, светскую, – но лишь в соответствующих случаях. В балете, на званых вечерах, раутах, – либо в гостях, либо в своем собственном особняке.

Сильфида Аполлоновна появлялась вымытая, надушенная, с целым вавилонским столпотворением на голове – творчество искусных пальцев француза-парикмахера.

Будучи женщиной в высшей степени добродетельной, никогда и в помыслах не изменившей мужу, которого она боготворила, Сильфида Аполлоновна имела невинную слабость – оголяться. Глубокий вырез и на груди, и на спине. Но так как спина этой рубенсовской банкирессы была жирна и вздувалась горбом, то походила на грудь. Это обстоятельство ввело как-то раз в заблуждение весьма элегантного и весьма близорукого молодого человека. Он разлетелся к ручке Сильфиды, но разлетелся не с той стороны, с какой это обыкновенно полагается... Убедившись в своей ошибке, молодой человек пришел в немалый конфуз. Вертевшийся тут же Мисаил Григорьевич нашел ключ к избежанию впредь подобных недоразумений.

– К моей жене надо подходить с той стороны, где брошь! Перед там, где брошь...

Действительно, на груди Сильфиды Аполлоновны путеводной звездой сияла всех и вся издали ослеплявшая громадная бриллиантовая звезда, такая громадная, любому сановнику в пору повесить на грудь.

– Сильфидочка, ну, садись же...

Сильфида Аполлоновна в красном затрапезном капоте, не успевшая умыться и причесться, осторожно опустилась на колени супруга всей своей тяжестью. Бедный Мисаил Григорьевич утонул весь под этим рыхлым, свободным от корсета и платья-кирасы телом.

Он застонал. Физическая боль победила нежное чувство.

– В тебе семь пудов, ты была бы, наверное, хорошей борчихой. Дядя Ваня охотно ангажировал бы тебя в свой международный чемпионат и рекламировал бы Тетей-Пудом... Нет, шутки в сторону, тебе, как ты себе хочешь, необходимо немножечко похудеть.

– Мисаил. Это мое больное место. Ко мне ходит каждый день массажистка, а уходит она измученная!..

– Измученная? Что значит? Нанимай двух массажисток, денег жалко, что ли? А самое лучшее, если ты начнешь ходить к мадам Карнац. Это хороший тон – бывать в институте мадам Карнац. Там бывает много клиенток из нашего общества. Она тебе что-нибудь выдумает, и ты похудеешь. Но вставай, Сильфидочка, или ты меня раздавишь...

Сильфида Аполлоновна пересела на другое кресло.

– Ну, а теперь будем обсуждать. Итак, – продолжал Айзенштадт, – мне нужна содержанка. На ком бы остановить свой выбор? Что ты скажешь про Холодцеву?

– Фе, Мисаил! Где у тебя твоя гениальная голова? Холодцева, правда, еще до сих пор одна из красивейших женщин в Петербурге, но не та марка, не та. Когда с ней жил принц крови, иметь ее на содержании было бы шикарно. Я бы не сказала ни слова, но теперь! Теперь она путается, говорят, с каким-то жидом...

– Ты имеешь свой резон, Холодцева – не дело для меня. Ну, тогда кого же? Вот разве оперная Ковалева? Классная женщина, шикарная женщина! Только ее нет здесь. Она в Париже и в третий раз вышла замуж за какого-то дурака. Не могу же я иметь с ней сношение на таком большом расстоянии.

– Постой, постой, Мисаил, а что ты скажешь на Искрицкую?

– О, вот это я понимаю! Вот это я понимаю! – привскочил в кресле банкир. – Теперь это самая модная женщина в Петербурге. Ею только и держится оперетка, на нее ходят, на нее смотрят, ею любят. О, это как раз то, что мне нужно!

– Но она живет с каким-то Корещенко?..

– Во-первых, совсем не с каким-то... Имей в виду, у этого Корещенко три-четыре миллиона, хорошеньких, чистеньких, как стекло! А во-вторых, что значит живет? Я же с ней жить не собираюсь, она мне нужна для рекламы. Я буду с ней кататься, иногда ужинать. Пускай говорят, пускай, что и требуется доказать! А если она живет с ним, – нехай живет! Только бы не очень афишировали себя, а для меня это еще лучше – дешевле! Я положу ей две тысячи рублей. Кажется, довольно, чтобы нас иногда видели на людях и чтобы о нас говорили. Ну, значит, мы принципиально остановились. Теперь дальше: уже лето, что мы делаем летом? Надо успеть показаться в Кисловодске, в Ялте, пожить здесь где-нибудь на даче. Потом Лидо, Карлсбад и к осени – Биарриц. Когда это мы все успеем? А надо успеть, чтоб нас везде видели.

– Это ужасно! – вздохнула Сильфида Аполлоновна, тяготеющая к сидячей спокойной жизни, не в пример своему живому, энергичному, постоянно в движении супругу.

– Что делать, Сильфида? Шапка Мономаха! Мы должны ее носить, как бы это ни было подчас тяжело: Да, я упустил из виду – Париж! Там надо будет недельки на две показаться в сезон русских спектаклей в Елисейском театре, и, кроме того, мои личные дела потребуют Парижа.

– Хорошо, – кротко согласилась жена, всегда и во всем соглашавшаяся со своим мужем, который был для нее оракулом.

– Теперь дальше. Знаешь, какая пришла мне в голову мысль?..

– Какая?

– Нам пора тобою переменить фамилию.

– Что такое?

– Я говорю, надо переменить фамилию. Айзенштадт – звучит немного по-немецки. Надо что-нибудь русское.

Долго совещались и не могли ничего выдумать. Вдруг Мисаил Григорьевич просиял, хлопнув себя по лбу.

– Есть! Нашел! И как просто – Железноградов! Железноградов – это звучит и в этом что-то, знаешь, что-то церковное. Мисаил Григорьевич Железноградов, Сильфида Аполлоновна Железноградова.

– Мисаил, это гениально! – воскликнула жена.

– А ты думаешь? погоди, это еще не все. Камергер его святейшества папы римского Мисаил Григорьевич Железноградов! Что, разве плохо? Кстати, я получил письмо из Рима от аббата Манеги. Солидный человек, деловой человек! Не успел приехать и уже написал. Будет сделано! Через каких-нибудь две-три недели твой супруг папский камергер. Надо будет перевести ему кое-что авансом. Знаешь, красивый, очень красивый мундир и два ключа с папской тиарой. Тогда я могу бывать на всех парадных приемах. Это уже почти, как если бы я находился в Дипломатическом корпусе. А чтобы совсем принадлежать к дипломатическому корпусу, ничего не может быть легче. Тоже придется заплатить. Я могу сделаться местным консулом какой-нибудь южноамериканской республики, и тогда у меня будет еще один мундир. Я могу их менять, сегодня – в одном, завтра – в другом. Ну, есть же там малюсенькие такие республики. Что им мешает, если я буду их представителем в Петербурге? Кому от этого убыток?

– Решительно никому!

От удовольствия, что муж ее будет совмещать в особе своей папского камергера с консулом южноамериканской республики, она стала такой же пунцовой, как и ее капот.

А Мисаил Григорьевич подлил масла в огонь:

– Иногда я могу сажать на козлы кареты или машины выездного лакея – они называются егерями, в ливрее с кортиком и в треуголке с перьями.

– А у кучера будет расшита спина золотыми углами? – подхватила Сильфида Аполлоновна.

– Естественно же будет! Иначе нельзя. Что полагается, то полагается! Божество мое, Сильфидочка, ты моя семипудовая, надо уметь жить! Денег одних еще мало. Нужно иметь еще на плечах голову. Итак, Искрнцкая, ключи с папской тиарой, егерь с петушиными перьями и кучер, у которого будет золотая спина...

Айзенштадт появился на петербургском горизонте недавно, лет восемь-девять назад. Он приехал из какого-то южного города, Балты или Тирасполя, а может быть, Херсона, Николаева и даже Екатеринослава. Но не все ли равно, какой из этих городов будет оспаривать честь называться родиной Мисаила Григорьевича Айзенштадта, камергера при ватиканском дворе и консула какой-нибудь экзотической республики, а главное – талантливейшего банкира, сумевшего из ничего создать миллионы?

В бытность свою гимназистом последнего класса Айзенштадт занимался репортажем в местной газете. Он выдвинулся, и тогда уже говорили:

– О, этот мальчик пойдет далеко!..

Приехал в город новый архиерей, человек нрава сурового и мало доступный. А редактор, хоть умри, да подай беседу с его преосвященством.

Трех интервьюиров не принял архиерей. Четвертым вызвался Айзенштадт. Все сулили ему провал.

Через полчаса гимназист ушел обласканный и с материалом на сто пятьдесят строк.

– Чем ты обворожил его? – спросил редактор, говоривший своим сотрудникам «ты».

Юноша торжествующе усмехнулся.

– Я ему с места в карьер заявил, что хочу креститься в православие.

Это свое желание Мисаил Григорьевич осуществил много лет спустя, предварительно, однако, испробовав лютеранство.

Достигши денег и власти, той власти, которая дается деньгами, он решил завести свою собственную газету. Но пока что это было в туманных грезах, более туманных, чем грезы о красивых мундирах и ключах с папской тиарой.

Мисаил Григорьевич любил обращать на себя внимание. Он громко смеялся, громче, нежели это вообще полагается. В театр, на благотворительный концерт, в балет он всегда умышленно опаздывал, появляясь с шумом и треском. Чем больше голов поворачивалось в его сторону, тем лучше достигалась цель.

Кто-то когда-то и где-то бил его. А может быть, не раз били, а может быть, и никогда этого не случилось. Но так ли, нет ли, ходил по городу анекдот, сочиненный врагом Айзенштадта миллионером Иссерлисом.

Будто бы спрашивают Айзенштадта:

– Мисаил Григорьевич, правда, что вас однажды всю ночь колотили?

– Когда это было?

– Говорят, в мае.

– В мае? Что вы хотите, какая же это ночь в мае? Совсем коротенькая!..

Айзенштадт знал и про этот анекдот и про многие еще, гулявшие по его адресу, но и в ус не дул себе. Пускай болтают, брань на воротах не висит и от слов ничего не станется.

Да еще и не было времени вдаваться в пересуды о нем. Кроме живейшего участия в собственном банке, он был деятельным участником разных финансовых и промышленных акционерных предприятий. Он был членом-соревнователем «Палестинского общества», интересовался детскими приютами, участью балканских славян. Где уж тут думать о сплетнях, распускаемых «друзьями», и в том числе Иссерлисом.

– Ах, этот Иссерлис! Нет-нет и, глядишь, станет поперек дороги...

15. Перед грозой

Одну из самых маленьких, самых дешевых комнат в «Северном сиянии» занимал студент Политехнического института Милорад Курандич.

Лицо – смуглое, типичное южнославянское лицо. Взгляд больших темных глаз – горячий. Крупные, резкие черты.

Милорад Курандич – серб. Для студента вовсе не так уж молод. Тридцать четвертый год пошел.

Он высок, широкоплеч. Сильному, хорошо сложенному сербу тесно в скромном студенческом пальто не первой новизны и свежести.

Загорский случайно разговорился в коридоре с Курандичем, а потом Курандич позвал его к себе как-то вечером. Загорский шел к студенту без всякого интереса. Ничего не ждал от беседы и впечатлений.

Балканы и «все эти братушки» чем-то серым, скучным и тусклым рисовались бывшему гвардейцу.

Ему предлагали поехать военным агентом в Болгарию, но Загорский отказался самым решительным образом.

– Вот еще – удовольствие! Жить в какой-то захолустной дыре и нюхать чесночный запах этих немых братушек...

Болгары, черногорцы, сербы и даже румыны и греки были в его представлении каким-то человеческим «винегретом», грязным и диким, с той лишь разницей, что одни – гешефтмахи и плуты, другие – играют на скрипках в белых фантастических костюмах, третьи – водят ученых обезьян, а четвертые – режут в своих горах албанцев и турок.

Так думал Загорский с высоты своего европеизма и «предубежденный» пошел к Милораду Курандичу.

В продолговатой комнате клубился табачный дым. Хозяин – в куцей, затрапезной куртке. Она еле-еле сходилась на широких плечах, на выпуклой груди. Большим, сильным рукам было тесно в коротеньких рукавах.

Вот они вдвоем, эти совсем, совсем разные люди, хотя и тот и другой – славяне. И оба наблюдали друг друга. Загорский – незаметно холодно, с манерой воспитанного, сдержанного человека. В темных горячих глазах серба откровенно вспыхивало явное любопытство. Ему никогда не приходилось видеть так близко, а тем паче у себя, такого изысканного барина, породистого, бритого, с безукоризненным пробором и холеными пальцами – ноготок к ноготку, – лощеные, розовые, обточенные.

С первых же слов коснулись минувшей балканской войны.

Загорский узнает, к своему удивлению, что Курандич принимал в ней участие, как офицер, командовал ротой.

– Позвольте, господин Курандич, в каком же вы были чине, капитанском?

– Да. Я теперь капитан. Я отправился, на войну отсюда же, из Петербурга, подпоручиком запаса и вот за четырнадцать месяцев дослужился, вернее, довоевался...

– Но как же это... как совместить? – сделал Загорский плавный широкий жест, пояснявший его недоумение, – как серб мог совместить капитанство свое с этой студенческой богемой?

Курандич пожал плечами.

– Родина была в опасности. Я – серб, и я исполнил свой долг – воевал! А когда во мне, как и во многих других товарищах, миновала необходимость, я вернулся к прерванным студенческим занятиям.

– Но ведь вы же капитан, вы могли остаться на действительной службе, получать жалованье, делать карьеру?

– Зачем? Я не милитарист. Военная карьера, как таковая в смысле «мирном», никогда не удовлетворила бы меня. Мне предлагали остаться, предлагали командовать батальоном с производством в майоры, но я отказался.

– Странно. Необычно и странно...

– Странно потому, что вы нас не знаете. Мы, сербы, – демократическая страна, с демократической армией. «Мундир» не многих интересует. Наш офицерский корпус – это не каста, подобно тому, как в других милитаристических странах, например в Германии. Кончилась война, и я приехал сюда оканчивать институт, буду учиться, работать. Но, знаете, какая моя заветная мечта? Я вам скажу... – Дожить когда-нибудь до войны с Австрией. Где бы я ни был, я на крыльях, кажется, прилетел бы в Сербию, чтобы принять участие! С ненавистью дрался я против турок, с еще большей ненавистью против болгар, но в борьбе с австрийцами, чувствую, превратился бы в лютого зверя... О, я припомнил бы им и Боснию, и Герцеговину, и угнетение наших братьев по ту сторону Савы и Дрины. Все вспомнил бы...

Курандич весь загорелся. Глаза блестели гневом и вызовом. Сжимались кулаки, и крупный подбородок вместе с массивными челюстями, казалось, готов был перекусить горло любому австрийцу, попадись он только сейчас!

– Теперь я уясняю себе ваши недавние победы, – молвил Загорский. – Если все ваши офицеры, как вы, – горе неприятелю! Пламенный патриотизм и ненависть к врагу способны оказывать чудеса даже в наши дни торжествующей техники.

– Мы все, как один! Все, от короля и кончая последним солдатом! Я вовсе не исключение, я один из четырех с половиной миллионов сербов.

– Вы имеете, без сомнения, боевые отличия, раз так быстро шли в чинах?

– Вот мой портрет, – и, вынув из письменного столика фотографический снимок, Курандич протянул его Загорскому.

Загорский с трудом узнал богему-студента в старенькой куртке в этом щеголеватом офицере. Двубортный мундир с твердыми капитанскими эполетами, высокая парадная меховая шапка с белым султаном и на груди четыре ордена.

– Четвертый – болгарский георгиевский крест за взятие Адрианополя, – пояснил Курандич. – Но в тот же самый день, как болгары предательски атаковали нас на Брегалнице, я сорвал его с себя...

Сощурившись, наморщив белый обширный лоб, Загорский что-то соображал.

– Окончательно вспомнил. Я видел этот самый портрет ваш во многих зарубежных журналах. Вы тот самый Курандич, который первым вошел в Адрианополь и взял в плен Шукрипашу?

– Это я, – смутившись, краснея, подтвердил студент.

– Вы – герой. Один из самых выдающихся на вашей родине! О вас много писали, ваши портреты обошли всю европейскую печать, а вы здесь сидите над книгами в этой маленькой комнате? Другой на вашем месте быстро пожинал бы лавры. Ничего не понимаю... Но, каюсь, вы перевернули вверх дном все мои представления в сербах и Сербии. Простой, глубокий и вместе с тем такой прекрасный патриотизм! Бесконечно трогает, бесконечно умиляет. Я сам здесь полон сейчас какого-то хорошего, бодрого чувства...

– Если бы вы, русские, знали хоть немного сербов, вас это не удивило бы. Но вы все свое внимание отдавали болгарам, будь они прокляты! – злобно и с горечью вырвалось у студента. – Нас же вы знать не хотели, мы для русских неведомой странной, вроде какого-нибудь племени Центральной Африки...

Вскоре после этой беседы телеграммы оповестили весь мир о сараевском убийстве. На другой день Загорский столкнулся у подъезда меблированных комнат с Курандичем. Это был другой, парадный Курандич, в мундире, с орденами, в головном уборе с белым султаном, при сабле и в коротком черном плаще. Молодецкая выправка, воинственный вид и в темных глазах

какой-то хмельной огонек. Трезвое опьянение чем-то большим-большим, нахлынувшим так внезапно...

Он стиснул руку Загорского.

– Только что из нашего посольства! Война между нами и Австрией неминуема. Завтра выезжаю в Сербию через Румынию. Это убийство – провокационное. Виновников надо искать в Берлине и в Вене. Предлог для нападения на Сербию. Но Сербия – это балканский еж, который сумеет оцетиниться полумиллионом штыков... До свидания, спешу собраться. Помните наш разговор?.. Кто бы думал? Но их политика ясна: броситься на Сербию, пока мы не успели отдохнуть и собраться с силами после трех войн. Пишут австрийцы, что мы убили эрцгерцога. Какой вздор! На черта, спрашивается, нам, сербам, голова этого болвана!.. Всего лучшего... Сегодня или завтра мы еще увидимся.

И, гремя саблей, Курандич вбежал в подъезд.

Но ни сегодня, ни завтра им не удалось увидеться. Курандич так и уехал, не простившись. И только спустя много-много времени судьба неожиданным, почти сказочным броском столкнула этих двух людей при необыкновенных обстоятельствах. Когда и как это случилось, мы скажем в свое время.

Сараевская катастрофа повлекла за собой невообразимую панику на бирже, в банках и в промышленно-финансовых сферах. В первые дни самые находчивые головы растерялись. Никто ничего не знал толком, и поэтому всем самые кошмарные ужасы мерещились. Никто не верил в мирный исход конфликта, и в револьверных выстрелах Принципа на Сараевской улице все угадывали сигнал к чему-то громадному, пугающему, кровавому, о котором лучше не думать...

На бирже ценности летели вниз с головокружительной сумасшедшей быстротой. Банки отказывались выдавать вклады. Летний тираж газет сразу увеличился вдвое и даже больше. И утром и вечером петербуржец всех рангов, положений, сословий и возрастов жадно кидался к газетам, ища свежих телеграмм, новостей, откровений. Каждый по-своему переживал эти нервные дни.

Мисаил Григорьевич Айзенштадт волосы рвал на себе, зачем поспешил с переводом аванса в сто тысяч рублей Манеге. Заварится каша, и кто его знает: в числе друзей или врагов по отношению к России очутится Ватикан? И если в числе врагов – прощай камергерские ключи с папской тиарой, потому что – Мисаил Григорьевич был и останется русским человеком. Кстати, русским... Необходимо теперь, в особенности ввиду самых неожиданных перспектив, скорей хлопотать о превращении Айзенштадта в Железноградова.

Кипучую деятельность проявлял Юнгшиллер. Метался по городу, посылал много телеграмм куда-то и сам получал таковые из Берлина, Будапешта и Вены. Дважды обедал у него барон Шене фон Шенгауз, и они подолгу сидели вдвоем, а затем Юнгшиллер отвозил молодого человека в город на моторной лодке...

Вообще автомобили и моторные лодки владельца «Виллы-Сальватор» не стояли без дела, всюю работая.

Одна из этих лодок высадила раз ночью на пристань виллы высокую даму под густой вуалью. Ее поджидал хозяин с каким-то господином в котелке. И они долго совещались втроем, запершись в кабинете Юнгшиллера. Были приняты меры, чтобы ни дамы под вуалью, ни господина в котелке никто из прислуги не увидел.

Юнгшиллер встретил и проводил таинственную гостью. Уехали втроем: дама под вуалью, господин в котелке и Юнгшиллер. Сидя у руля, он ловко правил мчавшейся вдоль реки изящной, как дорогая игрушка, лодкой. С шумом рассекала она сонное зеркало воды, оставляя за собой длинную-предлинную борозду.

– Велика скорость? – спросил по-немецки господин в котелке.

– Тридцать узлов в час, – ответил согнувшийся над рулем Юнгшиллер, – самый быстроходный крейсер не обгонит нас. Но, говорят, «истребители» моего соседа Корещенко, истребители, – до которых мы никак не можем дотянуться, будут иметь тридцать пять узлов...

– За этого Корещенко надо взяться как следует, я вижу, что Шацкий болтун! Много мелет языком, но мало делает.

Спали низкие берега в зелени и в постройках. На фоне бледнеющих небес поднимались фабричные трубы темно-коричневых зданий. Все это оставалось позади. Лодка, нырнув под Самсоньевским мостом, низала широкий простор Невы.

Юнгшиллер высадил спутника и спутницу в разных местах. Господин в котелке взял извозчика и поехал в «Семирамис»-отель. Дама под вуалью тоже взяла извозчика, но на углу Кирпичного и Мойки слезла и двинулась пешком. Подойдя к двухэтажному казенного типа дому с двумя подъездами, большим и малым, она не позвонила у большого, а открыла американским ключом боковую маленькую, почти незаметную дверь.

В этот момент вернулся на свой пост верзила-городовой. Увидев даму – нужды нет, что он увидел только ее спину, – городовой вытянулся и, обалдевая соляным столбом, отдал честь...

16. Король Лузиньян

Одинокó жил, вернее, угасал в меблированных комнатах «Северное сияние» Галеацо ди Лузиньян, король Кипрский.

Лет сорок пять назад имя его повторялось мужчинами с завистью, дамами с восхищением. При дворе Наполеона Третьего и Евгении король Кипрский был самым элегантным кавалером. Но это не был петиметр и шаркун, это был настоящий король, с гордой, величавой осанкой. Рядом с ним бледнела незначительная фигура Наполеона, императора французов.

В сущности, в том, что король Кипрский, старый, всеми покинутый, вернее, основательно всеми забытый, разорившийся, угасал в меблированных комнатах на Вознесенском, угадывалась какая-то жестокая и логическая в то же время – логика бывает сплошь и рядом жестокой – последовательность.

Для династии Лузиньянов, на протяжении многих веков лишенных трона, собственной территории и подданных, лишенных всего, за исключением громкого титула, для этой скитальческой династии весь Божий свет, выражаясь фигурально, был «меблированными комнатами».

Шестьсот лет династия не знала никакого оседлого пристанища. Лузиньяны женились на принцессах крови владетельных домов, принцессы Лузиньянского «дома» выходили за чужих принцев и герцогов. Но все же не было в этом ничего, кроме внешнего декоративного блеска.

Лузиньяны пользовались гостеприимством старых замков Италии, Франции, Австрии, Испании. Но опять-таки эти готические, уцелевшие от феодальных времен, с музейным убранством замки являлись в конце концов «меблированными комнатами». Королевский размах, королевские аппетиты, но не было надлежащих средств, в замки со всем своим инвентарем переходили в руки заатлантических миллиардеров, европейских банкиров и негоциантов побогаче и потщеславней.

А Лузиньяны скитались по белу свету, сорили чужими деньгами, – товарищеские субсидии – подачки дружественных и родственных дворов, – носили красивые мундиры чужих армий, – чужих дипломатических корпусов, сражались под чужими знаменами, отстаивали интересы чужих кабинетов.

Какое-то заклятие дамокловым мечом тяготело над этой древнейшей в Европе династией.

Случалось, вот-вот, глядишь, улыбнется счастье, вот-вот настанет конец вечным скитаниям из одних раззолоченных «меблированных комнат» в другие.

Иногда владетельная родня устраивала кого-нибудь из Лузиньянов на маленький освободившийся или искусственно созданный трон. В перспективе – несколько сот тысяч подданных, власть, корона, собственный гофмаршал, собственные генералы, собственная армия, для которой уж «создавалась» форма.

Но или в самый последний момент на вакантный трон садился кто-нибудь из более влиятельных претендентов, или маленький, но свободолюбивый народ, не желая никаких монархов, объявлял у себя республику, или, наконец, Лузиньяны, и двух-трех дней не процарствовав, частью изгонялись новым народом своим, частью – и того хуже – были казнимы революционной толпой.

Последнему Лузиньяну, о котором докладывал развязный Дегеррарди аббату Манеге, повезло больше всех его предшественников.

В конце шестидесятых годов императрица Евгения, благоволившая к Иерусалимскому и Кипрскому королю, устроила его в одну из маленьких южноамериканских республик. Он поехал туда как на пикник, веселый, беспечный вдовец, со свитой из нескольких титулованных искателей приключений, уже получивших разные почетные должности при новом «дворе».

Короля с его свитой вез французский крейсер. Темно-смуглый, говоривший на испанском жаргоне народ маленькой прибрежной страны был верен королю своему до тех пор, пока стоял на рейде грозный крейсер с пушками, обращенными к столице. Этот медовый месяц продолжался в буквальном смысле слова четыре недели. Вспыхнула франко-прусская война, и крейсер поспешил на всех парах к берегам Франции, оставив тех, кого высадил на волю Божию.

Потомки испанцев, мулаты, метисы и кварталеры, взбунтовались, перебили свиту, почетную стражу, и переодетый король спасся чудом, бросившись вплавь. На палубе испанского «купца» Лузиньян почувствовал себя в относительной безопасности.

Через два месяца, высадившись в Марселе, он, получив эскадрон «голубых» африканских стрелков, с отвагой дрался против немцев, был ранен и награжден командорским крестом Почетного легиона.

Единственный сын его, принц Марио, юношей погиб в восьмидесятых годах, сражаясь против зулусов.

Галеацо Лузиньян остался последним в роде королей Кипрских. С годами интерес к нему потускнел, притупился. Субсидии коронованных друзей становились реже, уменьшались. Ему нечем было жить, потому что он не знал никакого иного ремесла, кроме королевского. И этот беззаботный король, не умея «сократиться», начал делать долги. А когда изверившиеся кредиторы перестали ссужать его, стал нуждаться.

Он мог бы торговать орденами, потому что охотников до орденов, хотя бы и весьма экзотических, всегда тьма-тьмуца. Особенно среди банкиров, негоциантов-выскачек, биржевых дельцов, словом, людей, хотя и не артистических, но все же либеральных профессий.

Лузиньяны, короли без территории и подданных, сохранили, однако, за собою право, освященное веками, и это самое главное, признанное остальными державами, – награждать орденом «Блаженной Юстинианы».

Белый эмалевый, расцвеченный золотом крест на алой ленте – один из самых эффектных шейных орденов.

Король Кипрский с большим разбором, однако, жаловал орден «Юстинианы». Жаловал тем, кто, по его мнению, действительно стоил подобного отличия.

Но продавать за деньги крест «Юстинианы» отказался раз навсегда, считая это недостойным и низким.

Лет восемнадцать назад стариком, но все еще величественным былым красавцем, приехал король Кипрский в Петербург.

Пока он был внове и в моде, с ним охотно, а многие даже подобоострастно и льстиво носились. На него звали гостей, как звали потом на аббата Манегу. Он украшал своей великолепной особой ужины, обеды. Сам же доедал свои последние крохи.

С годами он успел выйти из моды. Засверкали на горизонте другие звезды, более яркие. Он успел «надоесть».

Не потому, что король Кипра отличался назойливостью. Ничуть! Он быя горд, этот «король с головы до ног». И в самом деле, высокий и мощный, с серебряной густой бородой напоминал стареющего Лира. Но люди не прощают никому чрезмерного долголетия. Если человек, будь он даже и не простой смертный, зажил на грешной земле и не спешит переселиться в иной мир, о нем забывают, хоронят при жизни.

Так похоронил при жизни легкомысленный, изменчивый Петербург и короля Кипрского.

Глубокий-глубокий старик, блиставший в Тюильрийском дворце, выступавший в полонезе с императрицей Евгенией, желанный гость герцогских и королевских замков, месяц сидевший на троне южноамериканской республики, разбросавший не мало миллионов, догорал в меблированных комнатах на Вознесенском, наискосок Александровского рынка.

Он питался молоком и яичницей. Обедать в больших ресторанах не позволяли средства, вернее, всякое отсутствие их. Обедать в кухмистерских или столоваться в «Северном сиянии»

мешало брезгливое чувство. И он существовал яичницей и молоком. Дешево, натурально и, самое главное, чисто.

Король ни с кем не знакомился в своем общежитии. Ни с кем, за исключением Загорского и Веры Клавдиевны. Опытным глазом старик оценил и того, и другую, решив, что они «могут» быть людьми «его» общества.

Он мог говорить с ними по-французски, а с Загорским еще и по-итальянски.

Вера Клавдиевна относилась к нему заботливо. Как дочь относилась. Когда, мучимый подагрическими болями, старик бывал прикован к постели, Вера Клавдиевна и утром перед занятиями и после службы забегала к нему проведать, угостить чаем или кофе, которое сама варила.

Старика трогало такое внимание, до слез трогало, и он в шутку называл девушку «своей Корделией».

Загорский иногда проводил у него свободные вечера. Незаметно летело время. Король был для Загорского живой придворной летописью Европы нескольких десятилетий. О чем, о чем не рассказывал только седобородый старик... О своей дружбе с герцогом Омальским, сыном Луи-Филиппа, о том, как служил вместе с герцогом в колониальных войсках Алжира, о нравах при дворе Наполеона и Евгении, о своих отношениях с герцогом Морни и графом Валевским.

Не без юмора описывал последний Лузиньян свое четырехнедельное царствование в одном из приморских уголков Южной Америки. В его обрисовке вставала ярко вспышка революционеров, этот знойный буйный бунт знойных людей, кровавое восстание с пожарами, пистолетными залпами, резней...

От короля Загорский узнал некоторые любопытнейшие эпизоды франко-прусской войны, о которых никогда не читал и не слышал, хотя всегда интересовался военной историей вообще и семидесятым годом в особенности.

Сопровождались все эти описания документами, пожелтевшими бумагами, выцветшими фотографиями, нежными акварелями, тонкими миниатюрами на слоновой кости и пергаменте. Все, что уцелело от феерического прошлого и что сохранил последний из династии Лузиньянов в своей шаблонно обставленной меблированной комнате.

С побледневших фотографий и акварелей то там то сям глядел король в разные моменты и периоды своей цветистой жизни. На одной акварели он был ангельской красоты ребенком в кружевах и батисте. На другой – бритым молодым человеком, одетым по моде конца сороковых годов. Высокое жабо, цветной фрак, панталоны со штрипками. Дальше идут группы, где он снят в обществе монархов и принцев... Одиночные снимки, представляющие Галеадо Лузиньяна то в итальянской, то во французской военной форме, то наконец в его собственной, сочиненной для южноамериканских подданных форме, которую он проносил месяц. Много шитья, золота, широкие лампасы. Вся грудь в иностранных орденах, звездах и треугольная шляпа с пышными перьями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.